



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Zhukovskii, I. G.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАУКИ.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЯ ТЕОРІИ

XVI^{го} ВЪКЪ А.

СХОЛАСТИКА. — МАЦІАВЕЛЛИ И ТОМАСЪ МОРЪ. — РЕФОРМАЦІЯ:
ЛЮТЕРЪ, КАЛЬВИНЪ, АНАБАПТИСТЫ. — ЖАНЪ ВОДЕНЪ.

Ю. ЖУКОВСКАГО.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.
1866.

Л. К.

JA 83
Z 46

Типография А. Головачева.
Вознесенский проспект, д. № 81.

Вѣдность нашей литературы сочиненіями касающимися общественныхъ вопросовъ, и неудовлетворительность въ этомъ отношеніи сочиненій иностранныхъ, заставила меня давно думать объ изданіи такого элементарнаго сочиненія, которое представило бы въ связномъ видѣ результаты отдѣльныхъ изслѣдованій, касавшихся общественной жизни, изслѣдованій, раздѣленныхъ до сихъ поръ между нѣсколькими отдѣльными науками, мало знающими другъ друга, но тѣмъ не менѣе имѣющими въ сущности одну и ту же цѣль изученія человѣческаго общества и его законовъ. Свести всю эту разностороннюю разработку со стороны юридическихъ, политическихъ, экономическихъ и социальныхъ писателей къ одному итогу и черезъ то способствовать образованію общей социальной науки, (соціологіи) — вотъ задача о которой я имѣлъ смѣлость когда-то мечтать.

Задача эта оказалась однако слишкомъ трудна и обширна для того, чтобы можно было надѣяться выполнить

ее сразу. Я полагалъ подготовить предварительно необходимый матеріалъ въ отдѣльныхъ-ислѣдованіяхъ и статьяхъ, которыя впослѣдствіи могли служить основаніемъ для изданія желаннаго цѣлаго сочиненія объ обществѣ. Въ этихъ видахъ, пять лѣтъ тому назадъ началъ я работать надъ разными вопросами, касающимися теоріи права и общества и исторіи общественныхъ и политическихъ системъ. И съ этой цѣлью былъ написанъ, между прочимъ, прежде всего очеркъ политическихъ и общественныхъ теорій въ XVI вѣкѣ.

Тогда я полагалъ, что трудъ этотъ будетъ служить лишь началомъ цѣлаго ряда подобныхъ изслѣдованій. Между тѣмъ выполненіе моей мысли и въ этой формѣ встрѣтило существенныя затрудненія, въ виду которыхъ я рѣшился подъ общимъ заглавіемъ матеріаловъ для науки общества, издать по крайней мѣрѣ: 1) немногія собственныя труды по этой части, 2) издать въ русскомъ переводѣ тѣ изъ сочиненій иностранныхъ, которыя по моему мнѣнію могутъ способствовать утвержденію въ читателѣ здравыхъ и ясныхъ взглядовъ на различныя формы общественной науки и сколько нибудь пополнить недостатокъ связныхъ сочиненій объ обществѣ.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЯ ТЕОРИИ

ВЪ XVI ВѢКѢ.

ГЛАВА I.

Шаткость современнаго положенія философіи права.—Идеализмъ и его результаты.—Реальныя требованія времени. — Что можно еще разумѣть теперь подъ философіей права, и въ какомъ смыслѣ можетъ быть разрабатываема ея исторія.—Общій характеръ XVI вѣка, значеніе его въ исторіи общественныхъ понятій и ничтожная роль, придаваемая ему обыкновенно въ исторіи философіи права нѣмецкими писателями.

Разработка исторіи философіи права, которую привыкъ встрѣчать учащійся въ обыкновенныхъ сочиненіяхъ этого рода, пребываетъ до сихъ поръ на почвѣ идеализма. Правда недовѣріе къ идеалистическому методу изслѣдованія не новость и насмѣшка надъ метафизикой также: «Quand celui à qui l'on parle ne comprend pas et celui qui parle ne se comprend plus, c'est de la métaphysique», — вотъ какъ опредѣлялъ эту метафизику Вольтеръ. А между тѣмъ строки эти были написаны накануне безпримѣрнаго развитія идеализма

въ евронейской наукѣ и затѣмъ мы были свидѣтелями всеобщаго увлеченія въ наукѣ метафизическимъ методомъ. Въ концѣ этого длиннаго періода нѣмецкое умозрѣніе должно было придти къ сознанию недостаточности своихъ построеній; а между тѣмъ, судя по тѣмъ направленіямъ, въ которыя видалась разработка права послѣ недавнихъ трансцендентальныхъ системъ, суди по тому положенію, въ которомъ находится эта разработка въ настоящее время; врядъ ли можно сказать, чтобы она считала умозрительное направленіе вполне исчерпаннымъ и сознавала ясно его несостоятельность. Еще недавно вѣдъ, въ половинѣ XIX вѣка являлись послѣдователи Юмы Аквината. Блунчли, строя организмъ государства и уподобляя его животному, сравнивалъ уголовный зудъ съ пупцомъ; Р. Моль называлъ семью *verstaerkte Persönlichkeit*; Игерингъ отыскивалъ законъ юридической красоты и т. д. *). Правда, толкъ о связи науки съ жизнью довольно старъ здѣсь, и жалобы на отторженность естественнаго права или философіи отъ положительнаго также не новость; а между тѣмъ стоитъ взглянуть на современное положеніе той науки, которая обзрѣваетъ всю сферу законовѣднія, чтобы понять, какъ мало связи между отдѣльными частями этой сферы, и какъ мало сдѣлано еще вообще для этой связи. Общему взгляду представляется здѣсь обширный историческій матеріалъ въ исторіи положительнаго права и исторіи юридическаго умозрѣнія, но между тѣмъ и другимъ нѣтъ и подозрѣнія какого либо единства—въ этомъ сознаются самые строгіе приверженцы научной рутинны **). Отсюда можно судить, какія основныя понятія о правѣ можетъ получать здѣсь прежде всего учащійся. Дѣйствительно, мы не знаемъ ничего шатче и непоследовательнѣе этихъ элементар-

*) R. Moll Gesch. u. Lit. d. Staatswiss. I, 253, 259, 89. В. Ihering. Gesch. d. Roem. R. II. 2-te Abtheil. Leip. 1858.

**) См. «Юридическія Записки», изданныя Рѣдкинымъ, т. 4. «Обзоръ Литературы по Энциклопедическому Закономѣднію».

ныхъ знаній, и эта шаткость поневолѣ будетъ длиться до тѣхъ поръ, пока не будетъ приданъ вполне реальный характеръ изслѣдованію вопросовъ естественнаго права и его исторіи. Между тѣмъ здѣсь, какъ нарочно, самая историческая разработка держалась наиболѣе неблагоприятной и мертвой дброги. Исторія положительнаго права имѣла дѣло съ одними законами, исторія понятій ограничивала свои рассказы одними школьными доктринами, упуская почти вовсе изъ виду тѣхъ писателей, которые были настоящими проводниками жизненныхъ идей и служили настоящей связью между самой практикой событій и школьнымъ умозрѣніемъ, бравшимъ черезъ нихъ болшею частію свои краски и свое настоящее содержаніе. При помощи такихъ-то писателей, мы надѣемся въ настоящемъ случаѣ дать, въ глазахъ читателя, значеніе цѣлому столѣтію, пропадавшему до сихъ поръ почти вовсе въ исторію юридическихъ теорій и показать настоящее ближайшее зарожденіе въ жизни идей, которыя стали только гораздо позже школьнымъ достояніемъ. Въ этомъ смыслѣ исторія развитія общественныхъ понятій пройденная за все свое время, можетъ показать только, конечно, всю необходимость реального направленія въ ученой разработкѣ предмета, который былъ лишенъ ея почти вовсе. Но пока разработка права остается вся въ сферѣ идеализма. Среди такого довѣрія здѣсь къ идеализму, мы поставлены въ необходимость высказать поневолѣ предварительно нѣсколько мыслей о томъ, что можно разумѣть еще въ настоящее время подъ философіею права, какое значеніе здѣсь можетъ еще приписываться чистому умозрѣнію и этимъ дать заранѣе опору тому направленію, которое встрѣтитъ читатель въ слѣдующемъ историческомъ обзорѣ.

Вглядимся въ природу идеализма, какъ она рисуется въ послѣднихъ его результатахъ, и посмотримъ, чего можетъ еще ждать отъ него наука.

Чистая мысль, стремясь объять міръ фактовъ, ставитъ сво-

ей задачей дать ихъ измѣнчивому содержанію неизмѣнное; посреди временнаго и случайнаго отыскать вѣчное и непреходящее и притомъ, — что главное — не черезъ посредство анализа этихъ фактовъ, а само изъ себя совершенно независимо отъ нихъ — путемъ чистой дедукціи. На такой задачѣ построена вся умозрительная философія, на предрѣшенной возможности такого дѣла вырощенъ весь рядъ системъ идеалистической философіи. Мысль о возможности возвести условное къ безусловному, объять измѣнчивое въ неизмѣнной формѣ чистой мысли — принималась, такимъ образомъ, какъ готовое, неоспоримое начало всеми философствовавшими. Можно было думать, что самая вѣрность исходнаго положенія могла быть доказана и опѣнена только въ результатѣ всѣхъ дальнѣйшихъ построений и трудовъ, въ концѣ историческаго хода работы, имѣя на лицо ея результаты и что пока шла эта работа и философія творила, до тѣхъ поръ рано было обращаться критически къ самому корню ея, потому что рѣшеніе, которое было бы дано такой критикой, положительное или отрицательное, не было бы ни опровергнуто, ни оправдано самымъ фактомъ, было бы, во всякомъ случаѣ, болѣе или менѣе гадательно.

Но когда совершенно уже въ извѣстной степени творческій процессъ, и наука описала извѣстный кругъ; тѣмъ болѣе когда въ концѣ такого процесса она не оправдала сама своихъ плодовъ, и не отказываясь отъ роли и значенія, отказалась отъ прочности истинъ, ею выработанныхъ; когда наконецъ въ самомъ творческомъ процессѣ ея оказалось уже извѣстное охлажденіе и усталость творческой силы, — когда-то юной и полной вѣры въ себя, — тогда становится понятно недовѣрчивое обращеніе къ ея корню и сомнѣнія въ прочности исходной гипотезы, опираясь на которую, она взрощала свои труды.

Среди такого состоянія находится въ настоящее время идеалистическая философія. Поле ея, истощенное или нѣтъ, лишено плодовъ; частныя системы, выращенныя на этомъ полѣ,

разбиты ихъ собственными адептами. Ударъ общаго недоувѣрія тяготѣеть надъ ея силами, и послѣднія попытки этихъ силъ подняться и дать отпоръ недоувѣрiю остаются крайне блѣдны; а напротивъ, все ближе и ближе подводятъ мысль къ отрицанiю ея въ самомъ ея корнѣ—и произнесенiю надъ ней рѣшительнаго слова. Время все ярче выставляетъ такіа требованiя, которыя вызываютъ рѣшительную критику всякаго умозрительнаго приѣма, и которымъ врядъ ли въ состоянiи отвѣтить какой бы то ни было идеализмъ.

Духъ анализа переполняетъ всё стремленiя, и не отвлеченнаго анализа, а духъ анализа чисто-реальнаго. Съ одной стороны впередъ всѣхъ задачъ стоитъ благосостоянiе жизни, которое вѣкъ стремится добыть одинаково для всѣхъ, не стѣняясь никакими старыми формами. Съ другой — личность, сiлящаяся отстоять свои послѣднія прерогативы произвола, оставленныя ей исторiей въ частномъ быту. Общественныя сферы и общественные вопросы стягиваютъ къ себѣ весь круговоротъ жизни, всё ея духовныя и матеріальныя силы. Изыщная литература, науки опытныя, все стремится одинаково къ этой работѣ. Здѣсь централизуются всѣ сферы знанiй и отсюда получаютъ свой характеръ реализма. Въ этомъ смыслѣ направляется отрицательная критика противъ умозрительныхъ системъ, какъ противъ всякаго идеализма.

Тѣмъ болѣе должна быть призвана къ суду таковаго реализма, та часть человѣческаго мышленiя, которая непосредственно касается юридической или общественной сферы, и въ этомъ смыслѣ должна быть провѣрена та часть философіи, которая непосредственно сюда относится. Но здѣсь-то давно всего слабѣе оказывались труды идеалистической дѣятельности. На это были свои причины, лежавшія въ свойствѣ самаго фактическаго матеріала, который представляла здѣсь жизнь для философскаго изслѣдованiя. Зыбкая, измѣнчивая природа этого матеріала ярче и скорѣе была способна вскрыть шаткость об-

шаго философскаго приѣма и коренной исходной гипотезы философіи. Объяснивъ теперь, какимъ образомъ это должно было произойти, мы увидимъ вмѣстѣ съ тѣмъ всю несостоятельность умозрѣнія въ рѣшеніи основныхъ положеній права.

Какъ бы ни были отвлечены истины, которыхъ добивалась философія, міромъ ея изслѣдованія были всегда факты. Содержаніе ея дѣятельности опредѣлялось всегда міромъ вещей положительныхъ, она шла путемъ опыта и индукціи. До созерцанія и творчества чего либо, совершенно независимаго отъ міра, вращающагося кругомъ человѣка, до чистой дедукціи она доходить не могла. Весь диалектическій грузъ поднять ею изъ той же почвы, откуда брали свои положенія и науки точныя. Сама познавательная способность есть такой же продуктъ впечатлѣній того же видимаго міра, какъ и весь капиталъ этой способности—все ея званіе. Только на этомъ условіи была возможна какая нибудь связь между мышленіемъ и міромъ и какой нибудь интересъ мышленія для человѣка и чистая мысль сама себя обманывала, воображая, что творитъ свои положенія сама изъ себя.

Но міръ этотъ до крайности измѣнчивъ и условенъ. Онъ состоитъ весь изъ частныхъ, весь изъ отношеній и особенностей, съ уничтоженіемъ которыхъ въ немъ убываетъ полнота и жизнь, онъ начинаетъ блѣднѣть и пропадать въ нашемъ представленіи,—сводится все болѣе и болѣе на общія очертанія, среди которыхъ стирается мало по малу разнообразіе вещей, и самыя вещи исчезаютъ за отвлеченіемъ ихъ частныхъ признаковъ.

Человѣку дана сумма средствъ и способностей познавать и пользоваться этимъ міромъ во всей его жизненной полнотѣ. Съ уничтоженіемъ, отвлеченіемъ какой нибудь изъ данныхъ способностей, сокращается и эта полнота познания и всесторонность отношенія человѣка къ этому міру. Онъ можетъ видѣть, слышать, осязать, измѣнять и превращать предметы химичес-

ки, механически, помнить, представлять, воображать и т. д. Но вот человекъ теряетъ зрѣніе, и одна сторона міра, сторона красокъ свѣта или тѣни, для него пропадаетъ мгновенно. Отсюда полное сознаніе для него возможно только въ суммѣ всѣхъ его средствъ, то есть съ сохраненіемъ за міромъ полного насущнаго его разнообразія. Отсюда же, уединяя себя на которую нибудь изъ своихъ способностей, онъ поневолѣ ограничиваетъ себя одной какой либо стороной предметнаго міра; сужаетъ свой взглядъ и дѣлаетъ его одностороннимъ.

Если же мы допустимъ теперь, что чистая познавательная способность въ человекѣ или мысль есть такой же продуктъ внѣшней условной природы, какъ весь человекъ, всѣ его средства дѣятельныя и познавательныя, какъ зрѣніе, слухъ, воображеніе, память, — то мы должны признать, что эта познавательная способность чистаго мышленія должна имѣть свои опредѣленные качества и способности, свои условныя, ограниченныя признаки, свои формы, отъ которыхъ она отрѣшиться не можетъ, не отказавшись отъ жизни и дѣятельности, — формы которыми она живетъ, дѣйствуетъ и относится къ природѣ и внѣшнему міру, точно также, какъ всѣ другія способности. Формы эти также точно опредѣленны и условны, какъ формы зрѣнія и слуха, которыя ограничиваются познаніемъ определенной суммы цвѣтовъ и звуковъ, и ими долженъ быть опредѣленъ и ограниченъ порядокъ дѣйствій мыслящей способности. Все это конечно не слѣдуетъ еще вовсе понимать такъ, чтобы мыслительная способность была нѣчто реально-самостоятельное, органъ подобный глазу, способный воспринимать свои чистыя логическія формы, какъ глазъ воспринимаетъ цвѣта. Вся мыслительная способность въ сущности, можетъ быть, только результатъ суммы внѣшнихъ впечатлѣній и потому разсматривать ее какъ нѣчто особое индивидуальное, объективно самостоятельное отъ внѣшнихъ органовъ — какъ это дѣлали до сихъ поръ — отдѣлять ее и обособлять, принимать за нѣчто самостоятельное, мы можемъ

только чисто субъективно, гипотетически—для удобства изученія. Въ этомъ гипотетическомъ смыслѣ, мы и говоримъ, что если отвлечь отъ мысли всю сумму внѣшнихъ впечатлѣній, соответствующихъ ея содержанію, то у насъ для чистой мысли останутся только общія формы, скелетъ впечатлѣній. И какъ слухъ или зрѣніе въ состояніи отвлечь отъ природы одну ея сторону, также чистая мысль, — если отдѣлить ее гипотетически, т. е. мысленно отъ прочихъ способностей для того, чтобъ легче было наблюдать ее — окажется способна отвлечь только одну сторону внѣшней жизни, т. е. тѣ логическія качества и діалектическія формы, которыя составляютъ все содержаніе и міръ этой способности.

Этотъ міръ категорій, которыя постоянно вскрываетъ чистая мысль въ предметахъ, достаточно уже опредѣленъ и раскрытъ философій во всемъ объемѣ, отъ самыхъ простыхъ до самыхъ сложныхъ. Но этимъ-то міромъ и ограничилась идеалистическая работа. Она показала, что какъ глазъ можетъ чувствовать сѣрыя пятна, не различая цвѣтовъ, какъ осязаніе можетъ чувствовать присутствіе предметовъ въ отпорѣ или сопротивленіи, принимать ощущенія очень смутныя и неопредѣленныя, граничащія съ безразличіемъ, или опредѣлять отдѣльные форменныя очертанія предметовъ, жесткость, мягкость, упругость и такъ далѣе, — такъ и чистая мысль имѣетъ свои представленія чистаго безпредметнаго бытія, равняющагося небытію, за которымъ начинается построеніе дальнѣйшихъ частныхъ категорій. Въ этихъ-то категоріяхъ чистая мысль искала безусловнаго, и этимъ кругомъ категорій ограничивалась вся ея историческая работа. Древняя философія отличалась тѣмъ, что брала эти категоріи, какъ впечатлѣнія изъ внѣшняго міра и стояла по этому на болѣе вѣрной дорогѣ. Въ новомъ идеализмѣ чистая мысль углубилась въ себя; она хотѣла выстроиться черезъ анализъ собственной своей природы, и вотъ въ результатѣ такого анализа она отыскала

въ себѣ эти категоріи; съ ними подошла она къ предметному міру, и думая познать въ немъ его безусловное содержаніе, вскрыла въ немъ только рядъ этихъ категорій, и на томъ остановилась. Тутъ стали блекнуть ея надежды, начался со-временный застой умозрительной философіи, и мало по малу стало ясно, что стремясь къ безусловному, она обрѣла соб-ственно очень условное, отыскала въ мірѣ тѣ формальныя впечатлѣнія, которыя способна воспринять изъ него категориче-ская способность чистой мысли.

До сихъ поръ такой результатъ имѣеть видъ чисто книж-ный; но вотъ гдѣ онъ становится серьезнѣе.

Отыскивая свои категоріи подъ видомъ безусловнаго, чистая мысль не останавливалась на этомъ. Отыскать безусловное въ явленіи, значило для нея оправдать явленіе и притомъ, оправдать, какъ безусловное, доказать разумность самаго явле-нія философскимъ путемъ. Но если такова дѣйствительно при-рода чистой мысли, какую мы указываемъ и какую мы видимъ въ ея исторіи, то вѣдь отсюда неизбежно, что чистая мысль должна оправдать все существующее, всякое явленіе и фактъ, потому что категоріи и формы ея могли быть отысканы во всемъ данномъ. Отсюда, чѣмъ зыбче и измѣнчивѣе была та внѣшняя область, которой она касалась, чѣмъ неустойчивѣе тѣ явленія, которыя составляютъ фактическое содержаніе этой об-ласти, тѣмъ болѣе она должна была слѣдить за всѣми коле-баніями, здѣсь происходившими: оправдывать какъ безусловное то, что завтра жизнь могла уничтожить, провозглашать безу-словными извѣстныя формы потому только, что онѣ стояли пока, какъ насущныя явленія, и низвергать ихъ вслѣдъ за ихъ паденіемъ — словомъ, уничтожать сама свою безусловность вѣчнымъ слѣдомъ за приливомъ и отливомъ явленій. Изъ этого-то прилива и отлива она брала свои краски и свое направле-ніе. Она была либеральною у Канта, отражала французское радикальное направленіе переходной эпохи начала текущаго

столютія, и повторила характеръ реставраціи у Гегеля. Своей живой матеріалъ она брала у измѣнчиваго случайнаго, укрываясь мыслію, что она дочь времени и, какъ мысль міра, способна познать только то, что кончило своей образовательный процессъ *).

Въ этомъ отношеніи, конечно, умозрительная философія цѣнила себя достаточно вѣрно и скромно. Но дѣло въ томъ, что тутъ скрывалось своего рода недоразумѣніе. Признавая себя связанною съ временемъ, философія вмѣстѣ съ тѣмъ утверждала, что отыскиваетъ безусловное во времени. Не говоря о томъ, что въ сопоставленіи такихъ понятій, какъ время и безусловность, выходитъ логическій nonsense, — если принять за безусловное тѣ условныя категоріи, которыми дѣйствуетъ чистая мысль, — философія права и въ этомъ случаѣ даже не проводила строгой черты своимъ притязаніямъ. Оставаясь вѣрно своему духу, она могла назвать собственно безусловными всегда только свои категоріи, которыя добывала въ данныхъ явленіяхъ; но этимъ она не ограничивалась, а объявляла за безусловныя самыя переходящія формы жизни, въ которыхъ отыскивала свои категоріи. И Гегель, первый, высказавшій мысль о зависимости философіи отъ времени, первый же переступилъ отчетливѣе всѣхъ за эту черту, представляя въ своей философіи права, безусловный порядокъ жизни, окованный извѣстными формами, взятыми чисто изъ міра измѣнчиваго и случайнаго, думая на вѣки вѣковъ наложить его на плеча исторіи.

Но жалка будетъ роль науки, которая, отказываясь отъ дѣятельнаго участія въ тяжеломъ процессѣ жизненнаго движенія, будетъ довольствоваться объявленіемъ за безусловныя тѣхъ формъ, шаткихъ и несовершенныхъ, которыя явятся въ результатѣ фактическаго процесса. Что касается мнѣнія, что фи-

*) Hegel, Grundlinien d. Phil. d. Rechts предисловіе,

лософія можетъ понять только завершившееся время, то идеалистическая философія, собственно говоря, не въ силахъ исполнить и этой задачи сама по себѣ, потому что она въ силахъ всегда только отвлечь изъ всякаго времени исключительную сумму своихъ логическихъ качествъ, которыя сами по себѣ всегда одинаковы. Въ какомъ бы видѣ эти категорическія качества ни сложились въ самой жизни и какъ бы вѣрно ихъ ни извлекала отсюда философія,—изъ такого матеріала не можетъ быть сдѣлано яснаго изображенія времени.

Чистая мысль, какъ односторонняя способность, въ состояніи на столько же удовлетворить этому требованію, на сколько одно зрѣніе или слухъ могутъ намъ дать понятіе о томъ же времени.

Отсюда чистая философія въ практическихъ отдѣлахъ прибѣгала всегда за красками къ мыслямъ и внѣшнимъ формамъ, выходящимъ изъ ея сферы, которыми старалась пополнить свою бѣдность; отсюда же ея коренная слабость, непоследовательность и ложное вліяніе, для многихъ неотразимое, какъ доказала лучше всего система Гегеля. Отыскивая свои категоріи въ переходныхъ жизненныхъ формахъ, она приковала умы къ этимъ формамъ.

Изъ сказаннаго намъ хотѣлось бы вывести, что чистая мысль, будучи односторонней способностью человѣческаго организма, вращается въ кругу такихъ же условностей, какъ и всѣ остальные стороны человѣческой дѣятельности, и опредѣляется формами, которыя беретъ изъ внѣшнихъ впечатленій, которыя создаются путемъ индукціи. или что жизнь представляя собою цѣпь условностей, только въ этомъ видѣ и можетъ быть понята во всей нестрогѣ и полнотѣ этихъ условностей, общей суммой всѣхъ средствъ, данныхъ человѣку и соответствующихъ этому разнообразію;—и что въ этомъ-то познаніи всѣхъ отношеній и условностей, заключается весь идеалъ знанія для человѣка, все его уясненіе сущности и природы вещей. Сущность эта для

него есть поэтому самое условное, въ отношеніи къ которому чистая мысль является факторомъ несоздающимъ, а только упрощающимъ, формолирующимъ реальное знаніе, составляющее настоящій матеріалъ и все содержаніе знанія, безъ котораго мысль эта не имѣетъ никакого ровно значенія и интереса.

Отсюда, въ отношеніи природы права и общественной сферы, дѣятельность человѣка можетъ быть направлена только къ познанію такихъ же отношеній и условностей, рядъ которыхъ представляетъ собственно сфера права или нравственности. Познать полный рядъ этихъ условностей, значитъ познать реальную природу права.

Въ такую-то сферу условностей, въ міръ измѣнчиваго и случайнаго, погружается все глубже человѣческій умъ въ настоящее время, послѣ недавняго своего разлада съ трансцендантизмомъ, и въ этомъ-то погруженіи состоитъ реализмъ, въ которомъ онъ ищетъ успокоенія.

Реализмъ этотъ не есть примѣръ просто колебанія человѣческаго духа, *Sehnsucht* философскаго мышленія, отъ неудачъ въ одной сторонѣ, направляющагося къ другой, движущагося между матеріализмомъ и спиритуализмомъ, какъ нѣкоторые могутъ подумать.

Реализмъ не знаетъ колебанія; онъ знаетъ жизнь, какъ рядъ условностей, и противопоставляетъ себѣ идеализмъ или безусловное, какъ отсутствіе жизни, въ которомъ для него не можетъ быть ничего интереснаго.

Его корень въ наукахъ точныхъ, въ лицѣ которыхъ онъ всегда имѣлъ болѣе или менѣе видное мѣсто въ ряду знаній. Этого-то характера точныхъ знаній онъ ищетъ во всѣхъ сферахъ путемъ наведенія и опыта. Путь его поэтому долгій и сложный; задача его представляетъ лабиринтъ подробностей, который не можетъ быть пройденъ однимъ махомъ, одной философскою системою или даже однимъ временемъ. Но человѣкъ по своей природѣ постоянно бѣжалъ трудныхъ путей, надѣясь

скорѣе похитить знаніе, чѣмъ добыть его. Отсюда постоянныя уклоненія отъ строгой реальной дороги и постоянныя неудачи и разочарованія.

Онъ начиналъ свои прометеевскія попытки съ мистическаго мистицизма; сбитый разъ, онъ обращался къ опыту, но тутъ же создавалъ суевѣрныя стремленія, превращая знаніе въ алхимию, кабалистику и заклинанія. Разъ обманутый въ такихъ средствахъ, онъ обращался къ умозрѣнію и здѣсь проходилъ тѣ же колебанія. Какъ идеализмъ мистическій имѣлъ свой спиритуализмъ и матеріализмъ, свою мисологію и заклинанія, такъ идеализмъ философскій имѣлъ своихъ спиритуалистовъ и матеріалистовъ и свои переходы отъ безусловности матеріи къ безусловному духу. Нѣсколько разъ при этомъ мысль Европы падала съ высотъ безусловнаго въ міръ мелкаго труда и медленной опытной работы, и все-таки какая-то заколдованная сила влекла ее снова на прежній шаткій путь. Нѣсколько разъ наука пыталась стать на почву реализма, но не могла найти здѣсь устоя и проявить мужественной зрѣлости, а съ какимъ-то женскимъ легкомысліемъ уносила въ міръ гаданій. Помириться съ мыслию, что чѣмъ выше туда, тѣмъ все въ болѣе умертвляющемъ разряженномъ видѣ танутся все тѣ же земныя условія,—она не могла.

Новымъ рѣшительнымъ шагомъ ступаетъ современное знаніе въ область реализма, отказываясь отъ безусловнаго. Среди такого положенія вещей философія поневолѣ сводится съ своего олимпійскаго пьедестала, и отъ нея требуютъ истинъ осязательныхъ не для однихъ больныхъ умовъ, а для рукъ, претупленныхъ грубымъ трудомъ, какъ отъ всякаго труда очень явственной матеріальности. Среди такого направленія не отрицается при этомъ вовсе значеніе умозрительной способности и чистаго мышленія. Въ ряду другихъ средствъ, она должна имѣть свою цѣну и неизбѣжно будетъ ее имѣть, еслибъ прошло навсегда время построенія категорическихъ системъ. Вы-

ражаясь откровенно, все, что должно быть поколеблено тутъ — это право философіи держаться отдѣльнымъ замкнутымъ станомъ и творить построения, основанныя на одной діалектической силѣ разума, это — чисто дедуктивный методъ изслѣдованія въ рѣшеніи философскихъ вопросовъ. Сила чистой мысли можетъ оказывать свою помощь только въ общей работѣ, какъ сказываютъ свои остальные силы человѣческаго духа, и въ этомъ смыслѣ роль ея ясна и понятна, такъ что нѣтъ надобности надъ ней здѣсь останавливаться.

Если изъ сказаннаго теперъ можетъ быть выведено, что наука, ставящая своею задачею — добыть основныя истины права или нравственной сферы, не можетъ добыть ихъ въ формѣ чистыхъ отвлеченій строгой философіи, а должна погружаться вполне въ міръ случайнаго, условнаго, относительнаго, въ міръ реальный, чтобъ выяснитъ истины этого міра въ ихъ жизненной правдѣ, — то отсюда ясно, какой объемъ и характеръ долженъ быть приданъ философіи права, если наука эта должна удержатъ за собою свое названіе. Не только задача ея послѣ этого мѣняется но и сама цѣль ея становится другою: вмѣсто абсолютнаго знанія, какъ понимали эту цѣль идеалисты, утверждая, что наука живетъ сама для себя — цѣль эта должна стать положительною, реальною: все условное знаніе науки должно стремиться въ тому, чтобы стать орудіемъ практической жизни, дѣятельнымъ факторомъ и силой. Попытки дать такое направленіе нравственной философіи и были уже дѣланы. Рядомъ съ нѣмецкимъ идеализмомъ слышались прямые протесты противъ него во Франціи со стороны позитивистовъ въ лицѣ Огюста Конта. Но школа Конта, очень хорошо опровергавшая съ критической стороны состоятельность метафизики, не успѣла сама указать того ближайшаго метода на который должна была опираться общественная наука для своей положительности и терялась въ догадкахъ. Такъ, что и философія права, незная на какомъ рядѣ явленій сосредоточить

свои наблюденія—между какими явленіями искать законовъ или коренныхъ условій, руководящихъ построеніемъ законодательства и отношеніями въ обществѣ, на чемъ основать свою положительность—поневоля оставалась въ застоѣ.

Между тѣмъ указать ближайшій рядъ явленій въ которыхъ философія права могла обрѣсть дѣйствительное открытіе законовъ, по которымъ строится общество и попасть на положительный и точный путь, въ сущности было не трудно. Рядъ ученыхъ изслѣдователей занимался давно разборомъ этихъ явленій и съ начала текущаго столѣтія начался особенно дѣятельный разборъ этихъ явленій въ примѣненіи къ общественнымъ отношеніямъ и общественной философіи. Явленія эти были экономическія. Послѣ этого юристамъ недоставало одного только слова, одного только шага для того, чтобы поставить свою науку на прочную положительную почву — сознать, что почва права есть экономическая, что право есть результатъ экономическихъ условій и отношеній и опредѣляетъ въ послѣднемъ счетѣ, ничто иное, какъ экономическія отношенія. Это именно слово хотѣли сказать мы въ нашей литературѣ и вслѣдствіе этого само собою понимается то новое опредѣленіе и новый смыслъ, который должна получить въ нашихъ глазахъ философія права: изъ мистической науки пустаго понятія права она должна стать философіей нищеты и благосостоянія; а такъ какъ человѣческое благосостояніе есть прежде всего матеріальное благосостояніе и право опредѣляетъ только отношенія между людьми, при которыхъ совершается процессъ пріобрѣтенія достатка въ обществѣ—процессъ труда; то философія права сводится на изысканіе тѣхъ отношеній между людьми въ обществѣ, которыя соотвѣтствуютъ наибольшей успѣшности этого процесса.

Выражая такое требованіе реализма отъ науки, которая до сихъ поръ ратовала подъ другимъ совершенно знаменемъ

мы думаемъ отвѣчать только общему и старому требованію тѣсной связи между наукой и жизнью. На нашихъ глазахъ — поколѣніе, воспитанное расколомъ теоріи и правды, книгъ и дѣла; живой продуктъ этого раскола въ социальномъ типѣ разбитой личности, въ массѣ героевъ, отыскивающихъ вездѣ себя идеальнаго назначенія и отворачивающихся отъ мелкой реальной доли, какъ отворачивалась отъ нее наука, которой они были воспитаны. Если мы захотимъ искать на чужой почвѣ примѣровъ вліянію, которымъ отзывается это раздвоеніе въ самой жизни, мы можемъ легко увидѣть, что тамъ, гдѣ наука болѣе всего лишена реального характера, тамъ блѣднѣе всего и апатичнѣе оказывалось общество, и личность была окончательно спутана узкимъ эгоизмомъ и филистерствомъ.

И несмотря на то, мы не рѣшимся все-таки назвать взглядъ, нами высказываемый, господствующимъ ни въ средѣ ученыхъ, ни въ средѣ образованныхъ — ни у насъ, ни на западѣ. Въ ученыхъ и просто образованныхъ людяхъ, называющихъ себя реалистами, нѣтъ недостатка, но не всѣ они таковы на самомъ дѣлѣ.

Съ одной стороны, можетъ быть еще значительная часть людей живущаго поколѣнія презираетъ вообще будничность, плачетъ объ идеальныхъ остаткахъ средневѣковой свободы, убогающей съ старыми правами и дорогами; видитъ въ реализмѣ оскверненіе научнаго достоинства. Такой строй общественнаго мнѣнія отражается въ самой жизни значительной долей идеализма, проглядывающаго на каждомъ шагу. Видя въ реализмѣ тотъ центръ тяготѣнія, къ которому стремятся всѣ силы эпохи, мы видимъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ тяжело шагаетъ мысль къ этому центру, разбитая на касты отдѣльныхъ наукъ, отстаивающихъ, какъ самое общество, свои сословныя прерогативы; она не всегда сознаетъ сама ясно цѣль, къ которой должны стягиваться всѣ ея усилія; — она-то занимается сказками, то увлечается изящными слабостями, представляя эклектическую

смѣсь разнородныхъ началъ и растерянность, среди которой надобно угадывать и очищать въ ней каждый шагъ отъ совершенно лишнихъ примѣсей, которыя она сама иногда считаетъ за главное.

Какъ бы то ни было, мы считаемъ направленіе, нами выраженное — единственнымъ, отъ котораго можно ждать еще успѣха въ теоретической и исторической разработкѣ юридическаго матеріала. Отвергая всякую мистическую основу, мы твердо убѣждены, что тѣ, которымъ можетъ удастся распутать весь хаосъ современнаго юридическаго знанія, сдѣлаютъ это, не иначе какъ изгнавъ отсюда послѣдніе слѣды идеализма, и сдѣлавъ это, окажутъ рѣшительную услугу людямъ.

Такова точка зрѣнія, съ которой мы пишемъ и подтвержденіе которой мы надѣемся найти въ исторіи столѣтія, о которомъ будетъ идти рѣчь. Мы опредѣлили достаточно содержаніе и тѣ требованія и границы, къ которымъ пришла въ настоящее время философія права. Намъ хотѣлось бы теперь рассказать здѣсь одну главу изъ ея долгаго странствованія къ такому результату, главу, съ которой началась ея роль въ новой исторіи. Что касается причинъ, почему мы останавливаемся именно на XVI вѣкѣ, то и на это были свои основанія, которыя читатель пойметъ изъ общей характеристики этого столѣтія. Мы выбрали это время, потому что оно въ нашихъ глазахъ доказываетъ лучше всего необходимость — приписывать нѣкоторое значеніе реальнымъ писателямъ въ исторіи развитія общественныхъ понятій.

Шестнадцатое столѣтіе имѣетъ, можетъ быть, болѣе сходства съ настоящимъ, чѣмъ какое бы то ни было: несмотря на внѣшнее различіе по характеру, оба носятъ въ нѣдрахъ своихъ тѣ нравственные перевороты, которые, отдѣляя ихъ отъ сосѣднихъ вѣковъ, сближаютъ между собою по реформаторскому духу, по пытливости и судорожнымъ потрясеніямъ не

въ одной мысли. Въ самомъ общественномъ тѣлѣ, сложенномъ средневѣковой жизнью, въ самыхъ глубокихъ подавленныхъ частяхъ этого тѣла сказываются тѣ вздрагиванья, которыя даютъ критическій характеръ всей эпохѣ. Жизнь не осуществляетъ всего, на что заявляетъ болѣе или менѣе яркія притязанія; но то, что она успѣетъ вынести изъ такихъ потрясеній, то равновѣсіе, въ которомъ улягутся на два вѣка потому ея уставшія силы, такъ же рѣзко отдѣлитъ ее отъ прошедшаго, какъ мы отдѣлены отъ версальскаго періода.

И тамъ, и здѣсь происходятъ событія, которыя даютъ новую печать всему дальнѣйшему строю убѣжденій и дѣлъ.

Тамъ феодальная аристократія и церковь — два средневѣковые гиганта — ведутъ послѣднюю интермедію своей драмы и наконецъ уступаютъ реформаци, — иначе, мистическая нетерпимость и частно-владѣльческая зависимость отодвигаются передъ свободой вѣроисповѣданій и свободнымъ трудомъ. То и другое покупается въ концѣ цѣной усиливающейся политической власти; здѣсь эта политическая власть стирается мѣщанскими стремленіями и конкуренціей капитала. Тамъ крестьянство поднимаетъ съ своей стороны войну противъ феодализма; здѣсь пролетаріатъ встрѣчается съ новымъ феодализмомъ и поднимаетъ ту же войну противъ буржуазіи. Тамъ крестьянство терпитъ отпоръ въ своихъ притязаніяхъ; здѣсь крестьянство едва получаетъ то, чего требуетъ въ XVI вѣкѣ; а пролетаріатъ терпитъ тотъ же пока отпоръ. Тамъ начинается исторія формальной свободы; здѣсь исторія реальной. Тамъ человѣческій духъ освобождается отъ схоластическаго стѣсненія, чтобы искать истины изъ самаго себя, путемъ чистаго мышленія; здѣсь онъ познаетъ всю пустоту метафизическихъ построеній, всю недостаточность истинъ формальныхъ.

Тамъ право освобождается отъ основы схоластической, чтобы принять основу психическую, политическую и философскую; здѣсь оно освобождается отъ всѣхъ этихъ основъ для того,

чтобы принять свою настоящую основу, — основу, въ которой разрѣшаются всѣ остальные, основу экономическую.

Тамъ Макиавелли, возвышаясь недостигаемо надъ эпохой, вноситъ здравый смыслъ въ сужденія общественныхъ явленій и здравый взглядъ на человѣческую природу; здѣсь едва начинаютъ понимать его. Тамъ тотъ же Макиавелли указываетъ на папскую власть, какъ корень всѣхъ невзгодъ Италіи и ея раздѣленія. Онъ хочетъ единства Италіи, и въ этомъ одномъ видитъ ея счастье. Онъ хочетъ видѣть ее возстановленную въ рукахъ одной власти, девизомъ которой принимаетъ, среди схоластическаго толка, такое изрѣченіе: *salus populi suprema lex esto* — и это теперь только едва понимается. Тамъ Томасъ Моръ говоритъ о новыхъ гражданскихъ отношеніяхъ; здѣсь также говорятъ о нихъ.

Объ эпохи — эпохи открытій не въ одной общественной сферѣ; тамъ и здѣсь вѣетъ какой то общій духъ обновленія и свѣжести, въ которомъ люди черезъ два столѣтія подають другъ другу руку, привѣтствуя юную энергическую силу, которая хочетъ всюду сказаться. То, что дѣлается въ два послѣдующія вѣка, далеко уже не такъ ярко. Убаюкиваемая возрожденнымъ классицизмомъ, романтизмомъ, придворной роскошью и метафизикой, среди которыхъ дворянство продаетъ свое послѣднее общественное значеніе, а среднее состояніе ведетъ свои купеческіе замыслы, — жизнь здѣсь попираетъ имена, которыя составляютъ лучшее достояніе XVI вѣка, ставитъ на ихъ мѣсто другія болѣе блѣдныя; они терпятъ два вѣка пренебреженіе и получаютъ свою настоящую оцѣнку только на нашихъ глазахъ. Такъ Макиавелли и Томасъ Моръ — эти два знатока человѣческой природы — воскресаютъ въ своемъ, сколько нибудь вѣрномъ свѣтѣ только на рубежѣ новаго перевала исторіи, если можно такъ выразиться. Но не они одни; — мысли публицистовъ реформаціи, крестьянская война съ ея двѣнадцатю пунктами, французскіе публицисты временъ Кальви-

*

на и потомъ Лиги—все это было очень несовершенно, можетъ быть; но если поставить все это съ послѣдующими оправданіями текущаго порядка вещей, напудренными доктринерами, то все-таки оно заключало въ себѣ болѣе живыхъ элементовъ. Чѣмъ глубже вникаемъ въ подробности эпохи, съ которой начинается новая исторія, тѣмъ больше отыскиваются,—часто на заднемъ планѣ ея театра—явленія, загроможденныя массой болѣе извѣстныхъ именъ и событій, за которыми осталось поле первенства при послѣднемъ расчетѣ, но которыя только на половину выразили собою тѣ притязанія, которыя вскрывала уже самая жизнь того времени.

За канонической реформаціей или той, которая разрѣшилась цѣлыми школьными системами и вошла въ школьную культуру, чувствуются симптомы болѣе глубокой реформы.—Послѣдующая исторія назначила имъ темную роль; она привязала ихъ позади той колесницы, въ которую сѣли другіе. Но они-то придаютъ окончательно обновляющій характеръ этому вѣку, сближая его съ настоящимъ и позволяя читать въ томъ и другомъ заглавныя строки странствованія человѣческой мысли по совершенно новымъ путямъ.

Прежде установленія школьной науки въ XVI вѣкѣ, мы видимъ публицистику въ Англіи и Франціи въ томъ видѣ, какъ ее не знало время Людовика XIV и нѣмецкихъ подражаній Версалю. Эта пестрая литература политиковъ и публицистовъ вращалась первая вокругъ тѣхъ вопросовъ права, за которые взялась, въ ихъ схоластическомъ видѣ, строгая наука только впоследствии; между позднѣйшей литературой и писателями XVI вѣка была коренная разница. Одна примыкала къ готовымъ уже результатамъ и шла сзади исторіи поворно и не вдаваясь въ слишкомъ дерзкую борьбу. Утверждая, что она ищетъ коронныхъ законовъ человѣческой жизни, она искала собственно только средствъ къ оправданію того, что замѣчала вокругъ себя. Строясь въ систему, она позволяла себѣ кое-ка-

кія уклоненія ради этой системы отъ ходячихъ понятій, но оправдывала такъ много, что эти уклоненія казались слишкомъ простительны. Другая бросалась въ самый огонь насущныхъ волненій, становилась мечемъ той или другой партіи и признавала рѣшенія, которыя могли служить въ чемъ нибудь минутному дѣлу.

Здѣсь подрывались самымъ рѣшительнымъ образомъ, часто необыкновенно ярко и преждевременно, тѣ начала историческаго порядка, надъ оправданіемъ которыхъ трудились потомъ ряды системъ и мыслителей. И эта часть литературы была сильна и дѣятельна, пока длилось лихорадочное движеніе, поднятое въ XVI вѣкѣ, т. е. чрезъ все столѣтіе. Но въ семнадцатому вѣку созрѣлъ извѣстный устой; нравы погрузились въ золотой вѣкъ новаго классицизма, среди котораго одна Англія не дремала надъ своей общественной судьбой. Въ этотъ золотой вѣкъ, рядомъ съ возрожденіемъ классическихъ красотъ въ литературѣ, съ версальскими праздниками и подавленностью народа, въ вѣкъ спокойнаго размышленія, продолжало спокойно зрѣть то строгое направленіе въ объясненіи основныхъ истинъ права, которое вышло изъ перегара послѣдней борьбы феодализма съ монархіей и церкви съ реформаціей. Оно шло уже безъ тѣхъ вторженій со стороны политическихъ мыслителей, бойцевъ отдѣльныхъ партій или мощныхъ новаторовъ, которые могли свернуть его съ разъ принятой дороги. Тутъ оно стало ввязаться въ стройную линію, поднизывая одну систему къ другой, смѣняя направленія мирно, безъ боя; смѣняя исчерпанныя формы, когда онѣ дѣйствительно были совершенно изношены, принимая другія и опять ихъ нѣняя въ томъ же порядкѣ. И чѣмъ дальше, тѣмъ тише и спокойнѣе углубляясь все больше и больше въ тишь факультетовъ, шли эти объясненія до самыхъ послѣднихъ трудовъ нѣмецкой мысли. Жизнь давно металась, опять отыскивая новыхъ путей, испуганная всѣмъ тѣмъ, что она съ собою надѣлала послѣ реформаціи. Публицистика опять броса-

дась въ средину борьбы, чтобы рѣзать между властями и чернью, работникомъ и фабрикантомъ, мужьями и женами. Но тамъ все было неумоломо спокойно; наука выдерживала свою замкнутость съ мужествомъ, превосходящимъ всякій стоицизмъ.

Не таково положеніе литературы въ XVI вѣкѣ. Столѣтіе это не имѣетъ собственно школы; какъ преимущественно критическое время, оно представляетъ одно и то же броженіе въ мысли и фактахъ, не сложившееся ни тамъ, ни здѣсь въ извѣстный порядокъ или систему. Научная дѣятельность стирается здѣсь передъ работой политиковъ и публицистовъ; они сами не составляютъ школы, а стоятъ совершенно отдѣльно, наполняя все время между Макиавелли и Боденомъ, до Гуго-Гроція, котораго принято считать отцомъ новой философіи права. Раньше Макиавелли простирается туманъ схоластики, царство мистицизма и среднихъ вѣковъ, инквизиціи въ вѣрѣ и жизни, протестомъ противъ котораго выступаетъ XVI столѣтіе.

Вотъ почему мы считаемъ интереснымъ остановиться преимущественно на этомъ смутномъ періодѣ, длящемся черезъ весь XVI вѣкъ, изъ котораго вышла вся почти дальѣйшая, болѣе правильная разработка права, который не блисталъ стройностью системъ и научнымъ изяществомъ, но которому безспорно принадлежитъ инициатива и рѣшительный ударъ средневѣковымъ юридическимъ толкамъ, очищеніе научнаго поля и выработка самостоятельныхъ началъ, послужившихъ основаніемъ для послѣдующихъ системъ.

Не таково обыкновенно значеніе, приписываемое въ исторіяхъ философіи права этому вѣку.

Согласно общепринятому мнѣнію, отцомъ новой философіи права, въ лицѣ котораго оно впервые выдѣлилось отъ мистической основы, считается Гуго Гроцій. Симптомы этого выдѣленія слѣдуютъ у нѣсколькихъ нѣмецкихъ писателей, которые становятся между Лютеромъ и авторомъ трактата „О правѣ войны и мира,“ но и то болѣе для того только, чтобы ука-

зять на ихъ бѣдность и нерѣшительность въ сравненіи съ Гроціемъ и дальнѣйшими мыслителями. Первое начало свободной разработки науки права, такимъ образомъ, признается не ранѣе XVII вѣка. Если слѣдить это выдѣленіе у однихъ писателей школы, оно дѣйствительно не можетъ быть признано ранѣе. Наконецъ у самаго Гроція разработка предмета сильно отзывается мотивами и приемами схоластики, не смотря на столѣтіе ихъ раздѣляющее и на другія начала, которыя въ немъ скрываются. Философія права считала свою исторію исключительно по такимъ писателямъ, не отыскивая слѣдовъ возрѣвнѣй независимыхъ отъ схоластики раньше конца реформаціи, и приписывала все вліяніе обновленія Лютеру и его послѣдователямъ. И въ этомъ отношеніи она крайне была несправедлива къ цѣлому столѣтію, на долю котораго отдавала одни каноническіе споры и религиозныя движенія. Придавая XVI вѣку смыслъ эпохи критической по преимуществу, мы именно опираемъ нашъ взглядъ на томъ, что гораздо раньше Гроція — сила вещей и общественный ходъ исторіи произвели тѣ коренныя реформы въ понятіяхъ, которыми школа овладѣла гораздо позже. Для этого стоитъ только, идя отъ схоластическаго толка, взглянуть сколько нибудь въ событія дѣйствительной жизни, тронуть слѣды, оставленныя въ XVI вѣку феодальной борьбой, и труды политическихъ писателей и дѣятелей, которые одинаково не принадлежатъ ни къ схоластикамъ, ни къ послѣдователямъ реформаціи, — чтобы признать здѣсь болѣе независимости отъ школьной рутинны, чѣмъ въ трудахъ, которымъ ставится въ заслугу все движеніе понятій и которымъ щедрой рукой сыпались лавры неразборчивыхъ нѣмецкихъ цѣвителей.

Движеніе идей, если оно ищется въ завершенныхъ теоріяхъ, въ особенности въ вѣкъ такого общаго перелома въ наукѣ и жизни, какъ XVI столѣтіе, рѣдко будетъ отмѣчено въ его исторической правдѣ. Ближе всего можетъ быть было бы указать на современные факты, на то, что даетъ школьная культура

въ современной наукѣ не въ одной Германіи. Стоитъ взять рядъ современныхъ системъ философскаго права, и спросить, будетъ ли справедливъ тотъ, кто захочетъ чертить профиль настоящей эпохи по этимъ даннымъ. Но XVI вѣкъ даетъ намъ едва ли не лучшее подтвержденіе этой мысли.

Въ извѣстныхъ словахъ Гегеля, философія школьныхъ системъ, цѣня себя очень вѣрно, торжественно отреплась, наконецъ, отъ участія въ текущихъ дѣлахъ жизни. И потому не въ слѣдахъ такихъ системъ будемъ мы искать заслугъ XVI вѣка. Но затѣмъ остается спросить, совершается ли самый образовательный процессъ вовсе независимо отъ мысли и принимаетъ ли она какое нибудь въ немъ участіе. Этого участія ея не въ качествѣ школьной доктрины, а въ смыслѣ элемента дѣятельнаго, — какъ самыя виѣшнія силы, которыя работаютъ въ исторіи, какъ рычаги воли тѣхъ самыхъ лицъ, которыя поставлены въ огонь историческаго движенія, — никто, конечно, не станетъ отрицать. И вотъ въ слѣдахъ этихъ-то людей, которые являлись предъ нами, не какъ учителя или педагоги, и жили полной практической жизнью, должа философія права по крайней мѣрѣ не столько же искать объясненія воззрѣній времени на разные касающіеся ея вопросы, сколько у тѣхъ мыслителей, которые являлись ихъ послѣдующимъ отраженіемъ.

Опираясь на такія данныя, мы считаемъ возможнымъ показать, что было цѣлое столѣтіе, полное интереса для реальной философіи права, которое выработало все почти матеріальное содержаніе для послѣдующихъ системъ, и которое ускользало до сихъ поръ почти вовсе отъ вниманія философіи права въ нѣмецкихъ систематическихъ исторіяхъ права.

ГЛАВА II.

Схоластика.—Нравственный дуализмъ и общественный фатализмъ—два ея главных основанія.—Отношеніе ея къ средневѣковой жизни.—Первый протестъ противъ нея.—Легисты во Франціи.—Среднее состояніе и начало новыхъ понятій въ социальномъ и политическомъ отношеніяхъ.

Средневѣковая культура смѣшала въ себѣ всѣ элементы отжившаго міра, не исключивъ ни одного изъ нихъ. Мистическое начало Востока, философское начало Греціи и практическое начало Рима, все вмѣстилось въ этой жизни, какъ рядъ противорѣчій, и жило рядомъ одно съ другимъ, непереработанное, несознанное и непримиренное, спаенное въ теоріи богословами и схоластиками, сдерживаемое отъ взаимнаго столкновенія въ самой жизни проповѣдью католическаго смиренія, которое обязывало жизнь со всѣмъ мириться и видѣть во всемъ законъ, данный, чрезъ посредство римскаго двора, природѣ, затмившей въ себѣ чувство истины паденіемъ. Братство и равенство, провозглашаемое схоластикой, было сплошнымъ уравненіемъ передъ папизмомъ людей одинаково падшихъ и недостойныхъ, равныхъ по грѣху и неспособныхъ познать изъ себя нравственную истину, которая по этому должна быть открыта для всѣхъ, какъ обязательный законъ во всемъ, чтобы ни было наложено обстоятельствами на человѣка.

Исключая критику, католицизмъ уже все мирилъ этимъ

простымъ отрицаніемъ и оправдывалъ всѣ внѣшнія отноше-
нія, — этого было довольно пока. Подъ этимъ только усло-
віемъ онъ могъ утвердиться между свѣтскимъ порядкомъ, и
въ этомъ отношеніи онъ былъ крайне послѣдователенъ. Такимъ
же только приемомъ могли быть поставлены рядомъ и ужи-
ваться между собой — ученіе о братствѣ людей и феодальный
порядокъ, римское и варварское права и откровеніе. Но этого
мало; римскій дворъ былъ послѣдователенъ, говоримъ мы:
оправдывая свѣтскія условія, онъ не хотѣлъ оставить въ жи-
зни ни одного элемента внѣ своего вліянія. Классическая муд-
рость не могла подходить къ его расчетамъ въ своемъ истин-
номъ видѣ, и онъ первый ею овладѣлъ. Прежде чѣмъ класси-
цизмъ могъ оказать какое либо вліяніе на ходъ идей, католи-
цизмъ уже держалъ въ своихъ рукахъ школьное образованіе и
связывалъ нравственное ученіе Аристотеля съ своимъ мистиче-
скимъ толкомъ. Сплошной нравственный спай, построенный уче-
ными наперстниками папской власти, охватывалъ все средне-
вѣковое тѣло, въ которомъ таились, самыя разнорѣчивыя части,
и этотъ спай былъ вотъ какого рода:

„Провидѣніе создало человѣка по образу и подобию выше-
му, и потому человѣкъ носилъ вѣчный нравственный законъ
добра въ своемъ сердцѣ. Но онъ могъ выбирать между доб-
ромъ и зломъ, — онъ выбралъ зло, впалъ въ заблужденіе и грѣхъ,
и первоначальная психическая основа добра, естественный за-
конъ, какъ природное откровеніе, вложенный въ сердце каж-
даго, былъ затемненъ паденіемъ, хотя не изглаженъ совер-
шенно.

Этотъ природный законъ, вложенный въ сердце каждого,
извращенный паденіемъ, но не уничтоженный въ немъ совер-
шенно, римскіе схоластики выражали общимъ положеніемъ:
„удаляйся отъ зла и дѣлай добро,“ полагая, что всѣ
подробныя заповѣди этого закона должны быть написаны въ
самомъ сердцѣ и что изъ этого общаго положенія вытекали

сами собой какъ служеніе папѣ и церкви, такъ и всѣ семейныя и общественныя связи. Но чѣмъ больше грѣшили чело-вѣкъ, погружаясь въ земныя наклонности, тѣмъ больше потем-нялся въ немъ естественный законъ совѣсти. Поэтому-то нуж-но было, изобразить этотъ законъ видимымъ для всѣхъ обра-зомъ. Такъ явился внѣшній положительный законъ. Этотъ-то послѣдній былъ данъ отчасти Богомъ черезъ римскую церковь, отчасти людьми *).

„Но и людской законъ не просто людской законъ. Нѣтъ власти которая бы не была установлена свыше, получая свое благословеніе отъ папы, и потому нѣтъ закона положительнаго, который не былъ бы отъ воли высшей. Вся внѣшняя жизнь представляетъ собой одно безпредѣльное католическое царство, зерно котораго составляетъ Священная Римская Имперія. Цѣль этого царства—богоудобная жизнь на землѣ и распространеніе и охраненіе вѣры. Самъ Богъ установилъ двѣ власти на землѣ: одну свѣтскую, другую духовную, для управленія этимъ царст-вомъ. Онъ далъ два щита: одинъ папѣ, какъ главѣ церкви; другой императору, какъ защитнику церкви, преемнику рим-скихъ кесарей и верховному главѣ всѣхъ царствъ и царей“ **).

Въ этихъ общихъ положеніяхъ всѣ были согласны между собой. Позже, въ частностяхъ между схоластиками явилось разнорѣчіе. Такъ, первые схоластики, выводя право изъ воли, ставили его въ полную зависимость отъ божественнаго произ-вола. Тома Аквинатъ былъ главнымъ защитникомъ таковаго толка.

Позднѣйшіе, напротивъ, признавая божественную природу за норму божественной воли, подчиняли эту волю этой при-родѣ; правда поэтому казалась имъ независимой даже отъ выс-шаго произвола. Она была неизбѣжна; измѣнить ее не могло

*) Henrich. Gesch. d. Staatsprincip. Leipz. 1849. I, стр. 1—4.

***) R. Mohl. St-Wiss. I. 222. Hinrichs Staatsprinc.

само Провидѣніе, а потому она должна была составлять по ихъ понятіямъ неизбѣжный вѣчный законъ для самаго божества. Такъ какъ само Провидѣніе не можетъ измѣнить ее, то нравственныя правила должны быть даны въ естественномъ правѣ этой природою; въ положительномъ — божественной волей разъ навсегда. Такъ думали Марселий, Данте и пр. *).

То же разногласіе отразилось во взглядѣ на относительное значеніе властей въ безпредѣльномъ царствѣ. Одни считали власть папы, какъ намѣстника Божія, выше императорской, думая, что императоръ получалъ свою власть отъ папы; другіе, напротивъ, стояли за кесаря (**).

Сама схоластика начинала уже такимъ образомъ имѣть свою исторію, а въ этомъ признаніи вѣчности и неизмѣнности естественнаго закона — съ одной стороны, и съ другой — въ предпочтеніи отдаваемомъ свѣтской власти, проглядывало уже какъ будто извѣстное ослабленіе фанатизма и начало выдѣленія естественнаго права. Но все-таки разногласія эти были слишкомъ второстепенны. Обѣ власти исходили пока свыше, и право, во всемъ его объемѣ, исходило изъ того же источника; вмѣстѣ съ тѣмъ, кромѣ внѣшняго закона, признавалась психическая основа права, какъ законъ совѣсти, хотя для того, только чтобы тутъ же признать его недостаточнымъ въ этомъ видѣ по случаю падшей природы, и поставить въ зависимость отъ закона положительнаго, каноническаго и свѣтскаго.

Такъ были спутаны въ одинъ узелъ все противорѣчія и три совершенно противоположныя понятія о правѣ, какъ велѣніи Божиемъ, какъ о естественномъ законѣ совѣсти и наконецъ законѣ, данномъ свѣтской властью. Откровеніе, каноническое право, философія Аристотеля, римское и варварское права

*) Hinrichs. Staatsprinc. I. стр. 5 и 6.

**) R. Mohl. Staatswiss. I. 225.

нашли здѣсь одинаково свое мѣсто и улеглись въ своего рода іерархію.

О правѣ, независимомъ отъ такого ученія, средневѣковая культура могла не имѣть понятія.

Но выигнувъ въ противорѣчія, здѣсь связанныя, нельзя не согласиться, что кредитъ такого ученія могъ держаться только на исключительномъ состояніи умовъ. Схоластическій толкъ, имѣвшій цѣлью папское владычество, слагался изъ признанія за основу права нравственнаго дуализма, врожденнаго или откровеннаго — съ одной стороны, съ другой — изъ проповѣди свѣтскаго фатализма въ общественныхъ и политическихъ отношеніяхъ, то есть изъ неспроверженія на самомъ дѣлѣ того же дуализма.

Слагать и мирить такія двѣ части — не могло, собственно говоря, сознаніе; онѣ могли быть сопоставлены рядомъ лишь формальнымъ внѣшнимъ образомъ, съ которымъ могла мириться одна только фанатическая приверженность ко всему, что исходило отъ римскаго двора.

Пока такой фанатизмъ длился, на самомъ дѣлѣ непогрѣшимость папы была для всѣхъ неоспорима, крестоносцы бросались наперерывъ распространять Римское царство Христова и жизнь цаловала папскую туфлю, — до тѣхъ поръ было все возможно. Но римская церковь, во всемъ послѣдовательная, ошиблась въ одномъ только. Оправдывая свѣтскія права для свѣта, она оправдала ихъ для себя, — сама взяла карту въ свѣтской игрѣ, и потому должна была узнать, рано или поздно, что въ этой игрѣ нѣтъ ничего неизмѣннаго.

Въ концѣ XV вѣка ея кредитъ былъ далеко не прежній. Приобрѣтя власть, римскій дворъ забылся на своихъ успѣхахъ и началъ самъ ронять эту власть среди собственныхъ злоупотребленій. Вооружая противъ себя всѣхъ своими притязаніями, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ, среди мірскихъ заботъ, сталъ сдавать самъ въ XVI вѣку умственную культуру въ свѣтскія руки.

Въ половинѣ XV вѣка было изобрѣтено книгопечатаніе, ставшее главнымъ орудіемъ всей реформы. Италіей овладѣвалъ гуманизмъ, и римскій дворъ первый поддакъ его вліянію. Увлекаемая античными красотами и прелестью роскоши, онъ раззорялся на эту роскошь съ одной стороны и сжигалъ Савонароллу. Съ другой стороны протесты противъ злоупотребленій церкви и папскаго ученія, давно начавшіеся въ Англіи и на югѣ Франціи, становились рѣшительнѣе. Вальтеръ Доллардъ былъ сожженъ въ XIV вѣкѣ (1322), но два года спустя Виклефъ спорилъ съ папой, и Англія должна была испытать при Ватъ-Тайлерѣ сильное движеніе подавленныхъ классовъ, подобное тому, которое повторилось въ Германіи въ крестьянскую войну.

Тайлеръ былъ убитъ предательски; движеніе противъ свѣтскаго порядка было подавлено обманомъ и силой, но движеніе противъ церкви становилось рѣшительнѣе. Проповѣдь Виклефа достигла Богеміи; Іоаннъ Гуссъ и Іеронимъ Пражскій повторили ее въ XV вѣкѣ еще смѣлѣе и оставили школу.

Какъ въ Римѣ когда-то жгли христіанъ, такъ теперь въ томъ же Римѣ съ каждымъ годомъ отыскивали все болѣе еретиковъ. Но будда писалась уже вѣрно не тѣми чернилами: ихъ секретъ былъ какъ будто потерянъ. Главная опора схоластики была уже ненадежна.

Но какъ бы ни была крѣпка еще эта опора, латѣ всякій толкъ или теорія соприкасается не съ одними только убѣжденіями.

Дѣло въ томъ, что духовная сторона жизни, наука, вѣрованія и сознаніе не составляютъ еще всей жизни; они имѣютъ въ ней свою роль, какъ отдѣльный факторъ, какъ одинъ изъ элементовъ общаго жизненнаго процесса, въ которомъ работаетъ много двигателей болѣе могущественныхъ и непреклонныхъ, на которые она можетъ имѣть свое вліяніе, но и отъ власти которыхъ она не совершенно избавлена. Силясь познать жизнь,

сознание должно быть въ тѣмъ большей отъ нея зависимости, чѣмъ слабѣе и фальшивѣе въ этомъ сознаниіи понята самая жизнь, чѣмъ оно дальше отъ настоящей разгадки ея коренныхъ условий. А въ этомъ-то отношеніи схоластика находилась въ противорѣчій еще болѣе сильномъ съ жизненной правдой, отъ которой могла рано или поздно ждать рѣшительнаго удара.

Провѣряя въ этомъ отношеніи сущность схоластическаго ученія, трудно не замѣтить прежде всего, что самая жизнь, далеко не понятая въ немъ, а только объясненная по своему формальнымъ толковъ, которымъ пока болѣе или менѣе доминировали умы, шла по своимъ неизнаннымъ, но вѣчнымъ законамъ, слагая въ каждомъ фактѣ сатирическое противорѣчіе всему, чему учила школа.

Родовой бытъ Германіи распадался, народы набѣгали другъ на друга, сажались на чужія поля, политическія отношенія возникали изъ подавленія одной народной массы другою. Зависимыя отношенія, которыя успѣли образоваться кровнымъ порядкомъ, разрушались среди военнаго броженія для того, чтобы дать мѣсто зависимостямъ другаго рода: основаннымъ на голой силѣ, не прикрытой болѣе патриархальными красками, на понятіяхъ чисто имущественныхъ, лишенныхъ кровной при- мѣси и распространенныхъ одинаково на землю и лицо, на все словесное и безсловесное, что могло только служить личнымъ цѣлямъ каждаго. На практическомъ фонѣ разыгрывалась картина частной борьбы и конкуренціи въ самомъ ея рѣшительномъ видѣ, среди которой всякій употреблялъ въ дѣло все, что могъ, чтобы наложить свои руки на окружавшую его сферу и усилиться на счетъ другихъ. Церковь имѣла свои средства, свѣтъ евои—и такъ все боролось. О томъ, какъ слѣдовало судить эту борьбу съ точки зрѣнія нравственнаго принципа никто не думалъ, осуществлять вѣчный психическій законъ вложенный въ сердца никто не искалъ—жизнь строилась

по другому закону и отрицала самымъ дѣломъ мысль естественнаго права въ томъ ея видѣ, какъ ее представляла схоластика.

Взаимная борьба выдвинула далѣе извѣстныя карты изъ общей колоды, экономическія отношенія земли къ числу рукъ пришли на помощь и скоро опредѣлили зависимыя отношенія на поземельномъ началѣ, заставивъ жизнь предпочесть личной зависимости, какая длилась долго въ Россіи, зависимость поземельную, крѣпостную. Въ результатѣ личная борьба покрыла Европу сѣтью феодалныхъ союзовъ. Какъ новыя соціальныя единицы, они въ свою очередь бросались другъ на друга, стремились поглотить все, что было возможно; и все исцало роста и силы въ такомъ взаимномъ поглощеніи: церкви, короли и рыцари. Схоластическій толкъ жилъ какъ будто совершенно всторонѣ отъ такого порядка. Онъ имѣлъ свою обрядную часть и ей довольствовался. Затѣмъ ни законъ о братствѣ или смиренія, ни пренебреженіе земной долей, о которомъ учила церковь падшую совѣсть, не сдерживали кровавыхъ себялюбивыхъ ея проявленій, которыя руководили общимъ броженіемъ. На дѣлѣ средневѣковой католицизмъ первый отрекался отъ своего толка: приновѣдуя отторженность отъ міра, онъ искалъ власти не въ однихъ сердцахъ. Здѣсь таже жадность до внѣшнихъ благъ, тотъ же избытокъ страстей и ранъ, которыя онъ гримилъ въ своемъ сытомъ лицемѣрїи, тѣ же вассалы, то же рабство и богатѣніе на счетъ чужой бѣдности. Монашеская раса служила такимъ же щитомъ и средствомъ къ явческимъ цѣлямъ, какъ панцырь и латы, иногда еще лучшимъ; — то же кровосмѣшеніе и оргїи, раздѣляемыя римскимъ клиромъ съ королями и баронами. Рыцарство стрѣляетъ чернь, какъ зайцевъ, рѣжется съ королями, давитъ народъ; все льститъ другъ другу и продаетъ тутъ же. Десять столѣтій сряду человѣческую кровь льютъ какъ воду; и папская церковь сама дѣлаетъ то же, разжигаетъ, длить вражду, гдѣ только можетъ, и даетъ всему

свое благословеніе. Затѣмъ отвѣтъ передъ нравственнымъ закономъ разрѣшается въ купленную исповѣдь, въ денежную дань оскорбленному Риму, который въ лицѣ католическаго духовенства продаетъ свою амнистію, выдаетъ индульгенцію.

Жизнь такимъ образомъ понимаетъ себя совершенно посвоему. Теорія и тодѣе служатъ ей вовсе не выраженіемъ, а своего рода агентомъ, щитомъ, который она приводитъ въ дѣло въ случаѣ нужды, скрываетъ подъ нимъ свои коренные мотивы, защищаясь имъ передъ убѣжденіями и совѣстью. Она въ немъ видитъ средство, способное произвести болѣе или менѣе общее состояніе въ понятіяхъ, среди котораго всѣ болѣе или менѣе униженно и равнодушно будутъ смотрѣть на то, что она передъ ними ни вскрыетъ.

Вотъ первое отношеніе идеализма къ жизни. Гдѣ же находится такой порядокъ первый протестъ? — не у самихъ схоластиковъ, конечно. Онъ его находятъ въ томъ подавленномъ сословіи, такъ называемомъ среднемъ сословіи, которое въ самой жизни борется съ феодализмомъ и прокладываетъ себѣ дорогу, и у писателей служащихъ представителями интересовъ этого сословія — во Франціи у первыхъ свѣтскихъ учителей науки права, у средневѣковыхъ легистовъ. Здѣсь, среди полного царства схоластическихъ идей, въ теченіе среднихъ вѣковъ вырабатываются уже другія воззрѣнія на значеніе политической власти. Феодальное начало медленно уничтожается трудами этихъ людей въ пользу централизаціи, лишенной уже всѣхъ мистическихъ объясненій. Чисто свѣтскій характеръ утверждень за политической властью и признаніе ея обусловлено чисто свѣтскими цѣлями. Но этого мало, труды тѣхъ же легистовъ идутъ далѣе: освобожденіе подавленныхъ сословій, возвышеніе положенія женщинъ и дѣтей, установленіе гражданскаго равенства и ограниченіе правъ духовенства, — вотъ къ чему они стремятся твердо и неуспшно. Всѣми мѣрами возбуждаютъ они установленіе національной церкви, и

имъ помогаетъ мелкій влиръ. Наконецъ, они же, можно сказать, даютъ политическое значеніе цѣлому сословію, которое будетъ служить опорой и представителемъ ихъ мыслей. Словомъ, если было какое либо движеніе въ понятіяхъ права за всѣ средніе вѣка, то оно принадлежитъ имъ. Они одни въ этотъ періодъ презрѣнія къ слабымъ и слабымъ имѣютъ состраданіе къ ребенку и женщинѣ и поднимаютъ естественный голосъ совѣсти противъ освященныхъ закономъ ужасовъ. Трудамъ ихъ, значить, принадлежитъ то, что на порогѣ XVI вѣка не соответствуетъ болѣе въ жизни и понятіяхъ ни феодализму, ни схоластикѣ и съ чѣмъ мы теперь должны встрѣтиться. Ограничиваясь указаніемъ на одни результаты, оставленные этой прошедшей работой къ XVI вѣку, мы поневолѣ сосредоточиваемъ наше вниманіе на главномъ свидѣтелѣ дѣятельности легистовъ, на среднемъ состояніи *).

Среди феодальнаго порядка, взаимной ненависти партій и всеобщаго стремленія къ положительной части въ ряду земныхъ выгодъ, не сдерживаемаго схоластическимъ толкомъ, изъ среды подавленной черни къ концу средневѣковаго періода замѣтно ярче становится выдѣленіе новаго собирательнаго слоя или общественнаго класса, жизнь котораго выбилась изъ-подъ феодальной ферулы и внесла въ общество новый элементъ, — элементъ вольнаго труда. Устраненный отъ феодальной собственности, сосредоточенный на ремеслахъ и торговлѣ, классъ этотъ къ XVI вѣку начинаетъ приобрѣтать политическое значеніе при помощи неумоимыхъ юристовъ-практиковъ.

Поставленный на ряду съ властями королевской и феодальной въ борьбѣ централизаціи съ феодализмомъ, онъ служитъ опорой противъ послѣдней и тѣмъ усиливается. Крестовые походы не мало служатъ его интересамъ, короли — также.

*) M. Bardoux. De l'influence des legistes au moyen age. Revue Hist. de droit Français et étranger. 1858. 1V. livr.

Во Франціи Людовикъ Святой организуетъ его въ корпораціи, чтобы умѣрить торговые плутни, и тѣмъ усиливаетъ въ немъ сословный духъ и замкнутость. Жадный Филиппъ Красивый поднимаетъ его общественное значеніе, продавая ему льготы. Развратъ и упадокъ католическаго духовенства передаетъ въ его руки науку и письменность раньше реформации; продажность имѣетъ отерывающъ ему дорогу къ государственнымъ дѣламъ. Централизація пользуется имъ для униженія аристократіи и потомъ выбираетъ изъ него своихъ совѣтниковъ и министровъ.

Въ XVI вѣкѣ онъ дѣлится уже ярко отъ средневѣковаго порядка. У него свое гражданское право, мало похожее на то, по которому живутъ другія сословія. Отъ этого права вѣетъ другимъ духомъ, далеко не феодальнымъ. Здѣсь дѣлать движимое и недвижимое имущество между дѣтьми по-ровну; признавая имущественное равенство сестеръ и братьевъ, признаютъ равное право супруговъ на все приобретенное во время супружества. Когда мы хотимъ оцѣнить нравственную будущность какого либо общественнаго сословія и опредѣлить вѣроятность его общественнаго значенія, мы должны смотрѣть не столько можетъ быть на внѣшнія его отношенія или признаки его политической дѣятельности, сколько на его социальный строй. Вглядываясь въ гражданскіе признаки средняго сословія, мы открываемъ въ нихъ сознанную въ XVI вѣкѣ основу формальной свободѣ, которую этотъ классъ въ концѣ своего историческаго поприща внесъ до извѣстной степени въ политическія отношенія европейской жизни, чтобы остановиться пока на ней и не пойти далѣе. Итакъ начало свободнаго труда и формальной гражданской равноправности, — вотъ что прежде всего насъ поражаетъ въ практической жизни средняго сословія. Сколько намъ извѣстно, ни варварское, ни каноническое римское право, ни философія Аристотеля, ни схоластика не знали ничего этого. Варварскія права признавали во всемъ принужденіе и нервѣ.

венство, вышедшія непосредственно изъ первой войны дикихъ людей; философія Аристотеля доказывала все это по этической основѣ, а схоластика оправдывала съ высоты фатализма.

Но не однимъ среднимъ сословіемъ ограничивалось вліяніе такихъ началъ. Начала вообще заразительны, особенно при извѣстной сдавленности населенія, при усиленномъ треніи массъ, какое выпало на долю Запада. Живой примѣръ свободнаго труда, богатѣніе класса, который служить его представителемъ и имъ пользуется, — отсюда вѣдь одинъ шагъ къ умозаключенію о его выгодности, къ признанію практической истины, которое вовсе не такъ трудно для людей естественныхъ практиковъ по положенію и вслѣдствіе этого по складу ума. Какъ иначе объяснить эти явленія добровольнаго освобожденія черни владѣльцами, которыя мы здѣсь встрѣчаемъ? Конечно не вліяніемъ схоластики или римскаго права, вдругъ почему-то ставшихъ гуманными, какъ дѣлаетъ отчасти Огюстенъ Тьері *). Оба слишкомъ долго и рѣшительно уживались съ другими условіями. Впрочемъ, историческія свидѣтельства лучше всего говорятъ сами за себя. *Voit est qu'au commencement tous furent francs et d'une même franchise*, пишетъ Бомануаръ **). Въ XVI вѣку естественное равенство лицъ уже положительно признано; самое названіе *serf* прикрывается выраженіемъ *homme conditionné* ***). „Sire de Clermont“ выражается такъ, освобождая свои деревни: „я, находя и признавая приличнымъ дать свободу мужчинамъ и женщинамъ, которые по своему первоначальному происхожденію были созданы свободными творцами міра, имѣя въ виду притомъ свою собственную выгоду“ и т. д.; или другой „Sire de Coucy“, который объясняетъ дѣло еще явственнѣе: „изъ ненависти къ кабалѣ многія лица оставляютъ нашу землю; вслѣдствіе сего наша земля остается

*) J. Bodin et son temps Baurdillard. Paris 1853, p. 8.

**) Bard de l'inf. des Legistes. Beaumanoir, edition Beugnot. chap. XLV.

***) Doniol. Classes rurales.

большою частью вовсе необработанною, и потому значительно теряет свою цѣну“ *). Изъ такихъ данныхъ ясно, не только, что жизнь выдвигалась изъ-подъ средневѣковыхъ условий, но ясно вмѣстѣ съ тѣмъ, какими мотивами выдвигалась. Тутъ мотивы такъ общи и рѣшительны, что читая эти слова, мы невольно вспоминаемъ выраженія другой грамоты и національности, отдѣленные тысячами верстъ: „да оттого на посадѣхъ многіе крестьянскіе дворы и въ уѣздахъ деревни и дворы запустѣли, и наши дани и оброки сходятся несполна. И мы жалучи крестьянство для тѣхъ великихъ продажъ и убытковъ, намѣстниковъ“ и т. д. „отъ городовъ и волостей отставили, а... велѣли посадскихъ и волостныхъ крестьянъ обоброчить деньгами“ **).

Предметъ актовъ не совсѣмъ одинаковъ, но цѣль, мотивъ, которымъ двигается законодательство, и въ томъ и другомъ случаѣ одинъ и тотъ же. Тамъ, это выгода частныхъ лицъ, и самые акты принадлежатъ частной жизни; здѣсь, это повторяющійся безчисленное число разъ въ нашихъ памятникахъ „въ государевыхъ податяхъ добытокъ.“ Мотивы, которые заставляли такимъ образомъ жизнь вносить въ себя новые элементы, были независимы ни отъ какихъ формальныхъ толковъ схоластики, напротивъ едвали независѣли сами схоластики отъ этихъ мотивовъ. Это были мотивы выгоды, мотивы чисто экономическіе.

Схоластика могла оставаться въ жизни, какъ формальная сила, во всѣхъ отношеніяхъ, которыя были подчинены ея канонической власти; и здѣсь ея вліянію предстояла еще долгая будущность, она могла служить и теперь основой школьнаго образованія; но опредѣлить ея вліяніе на народную нравственность не трудно. Оно не могло быть во всякомъ случаѣ силь-

*) Baurdillard. J. Bodin, p. 9.

**) Устав. грам. Устюжскаго уѣзда, Усепскихъ и Засепскихъ волостей, 1855 г. Акт. Арх. Эксп. I. 241.

нѣе, чѣмъ въ самый разгаръ среднихъ вѣковъ, а тогда, мы видѣли, она мало сдерживала; да при продажѣ индульгенцій эта сторона дѣла врядъ ли требуетъ дальнѣйшихъ поясненій.

Что касается, наконецъ, ея вліянія на политическія убѣжденія, то здѣсь ярче, чѣмъ гдѣ нибудь, сказывается это видѣленіе понятій изъ-подъ ея вліянія — ярче, чѣмъ въ отношеніяхъ гражданскихъ и соціальныхъ, надъ которыми мы только что останавливались. Припомнимъ, что согласно схоластическимъ понятіямъ существовало двѣ власти, устроенныя на землѣ Провидѣніемъ — власть папы и власть императора: власть свѣтская и власть церкви были установлены свыше, происхожденіе обѣихъ было неземное и цѣль обѣихъ была также одинаково неземная; послѣдняя должна была служить охраной и распространеніемъ идеальнаго царства. Взглянемъ же на то, что думало время объ этихъ двухъ властяхъ. Начнемъ съ свѣтской, потому что до нея въ самой жизни раньше дошла очередь. Мы не останавливаемся на томъ, что говорить о единствѣ Священной имперіи въ XVI вѣкѣ было бы слишкомъ ясной аномаліей. Здѣсь уже готово явленіе, гораздо болѣе рѣшительное, — это идея раздѣленія королевской власти съ тремя сословіями. Собранія должны составляться въ опредѣленные ими самими сроки. Подать должна раздѣляться на всѣ классы, достигая короля. Право контроля финансоваго управленія и опредѣленія сборовъ черезъ представителей сословій, установленіе поголовной милиціи, общаго суда, отиѣна принудительной службы и разныхъ монополій королевскихъ чиновниковъ — все это высказывается въ актахъ средняго состоянія въ XVI вѣкѣ, обобщаясь такими мыслями: „*initio domini rerum populi suffragio reges fuisse creatos. Nonne credo legistis republicam rem populi esse*“ *).

*) Bardoux, de l'inf. des legistes... Baudrillard. J. Bodin. 9 и 10.

Въ мемуарахъ Филиппа Комина находится много данныхъ, знакомящихъ насъ съ идеями того времени.

Вооружаясь противъ феодализма, онъ ратуетъ противъ средневѣковаго абсолютизма князей, описывая злоупотребленія такого порядка почти въ циническихъ выраженіяхъ: „варварство и невѣжество князей, пишетъ онъ, очень страшны и опасны, потому что отъ нихъ зависитъ благосостояніе и несчастіе ихъ владѣній. Если князь великъ и силенъ и имѣетъ достаточное число вооруженныхъ слугъ черезъ посредство которыхъ онъ собираетъ значительную подать, на которую можетъ ихъ содержать, и если онъ ни въ чемъ не хочетъ уменьшать эту безразсудную и обидную трату, и всякое противорѣчіе въ этомъ случаѣ навлекаетъ только его гнѣвъ, чѣмъ можно помочь этому?.. И если послѣ того, что подданные заплатили сборы въ болѣе значительномъ количествѣ, чѣмъ были бы должны, не дается никакихъ обезпеченій народу отъ вымогательствъ королевскихъ людей, которые постоянно наполняютъ страну, предаваясь крайностямъ, которыя вѣдомы всякому; ибо они не довольствуются обыкновенной жизнью и тѣмъ, что они находятъ у крестьянина, который ихъ содержитъ. Они бьютъ оскорбляютъ этихъ бѣдныхъ людей... и если у кого есть смазливая жена или дочь, тотъ сдѣлаетъ очень разумно, если будетъ крѣпко сторожить ее...“

Далѣе, — пишетъ тотъ же Филиппъ де Коминъ: „князья гораздо сильнѣе, когда они предпринимаютъ войну съ согласія своихъ подданныхъ; точно также для нихъ выгиднѣе, когда подать взимается ими съ такого же согласія. „Нашъ король,“ менѣе всѣхъ властителей въ мірѣ имѣетъ причинъ злоупотреблять слѣдующей пословицей: „я имѣю привилегію взимать съ моихъ людей все, что мнѣ вздумается,“ потому что какъ онъ самъ, такъ и тѣ, которые заставляютъ его говорить это, чтобы возвысить его достоинство, заставляютъ черезъ это только ненавидѣть его и внушать страхъ сосѣ-

днѣ, которые ни за что не захотятъ быть подъ его владычествомъ“ *).

Таковы политическія воззрѣнія, высказывавшіяся въ то время, которое признается еще за царство схоластическаго ученія.

Тѣ же мысли позже повторяются еще яснѣе. Если бы мы хотѣли слѣдить далѣе за французскими свидѣтельствами, то мы бы нашли еще болѣе рѣзкія доказательства тому, какъ мало существовало уже связи между политическими воззрѣніями свѣтскихъ писателей и схоластикой; но тѣ свидѣтельства принадлежатъ уже времени реформаціи, и потому мы встрѣтимся съ ними ниже; вмѣстѣ съ тѣмъ увидимъ, что зарожденіе ихъ никакъ не можетъ быть приписано вліянію нѣмецкихъ и швейцарскіихъ проповѣдниковъ, которые вполне принимали основы схоластическаго ученія по отношенію къ праву, и что если эти послѣдніе брались за свѣтскіе вопросы въ видахъ сектаторскаго интереса, пролагавшаго себѣ свѣтскую дорогу, то политическія мысли, за которыя брались писатели религіозныхъ партій, вовсе не были слѣдствіемъ духа религіозной реформы, а брались ими какъ готовые, обращающіяся въ свѣтской жизни понятія, брались случайно и разнорѣчиво, на сколько могли служить свѣтскимъ интересамъ новой проповѣди.

Для того, чтобы дать заранѣе опору нашей мысли, оставимся долѣе на писателяхъ, предшествовавшихъ реформаціи; перейдемъ отъ Франціи къ національностямъ, которыя одинаково не были мѣстами зарожденія каноническаго спора — къ Италіи и Англіи.

Двѣ замѣчательныя личности встрѣчаютъ насъ здѣсь въ самомъ началѣ столѣтія.

Мы видимъ въ обѣихъ ясно сознанное недовольство текущимъ порядкомъ и стремленіе къ другому, лучшему. Планъ настроенія и средства у каждаго изъ нихъ различны, какъ

*) Baudrillard. J. Bodin, стр. 11 и слѣд.

различны складъ ума и характера. Одинъ реалистъ, реалистъ почти недосыгаемый, знатокъ чловѣческаго сердца и природы, общественныхъ отношеній, которому нѣтъ равнаго; другой — мечтатель согласно общему мнѣнію, его относятъ обыкновенно къ государственнымъ романистамъ; но если его поставить рядомъ съ ученіями схоластики о безпредѣльномъ земномъ царствѣ черезъ посредство сборовъ и иневициці, съ гипотезами моралистовъ, психологовъ или наконецъ идеалами философовъ, съ представленіемъ хоть идеи нравственнаго добра, дошедшей до сознанія себя самой, со всѣми безплотными отвеченіями школь—его мечты, говоримъ мы, отгвняются въ реализмъ, который становится ближе къ Макиавелли, чѣмъ къ Томѣ Аквинату, Гроцію или гегельянцамъ.

Впрочемъ мы увидимъ сейчасъ, на сколько имѣетъ основанія такое предположеніе. Главное дѣло въ томъ, что оба писателя стоятъ неизмѣримо далеко отъ схоластики, не только по содержанію ихъ мыслей, но по самымъ приемамъ и формѣ обработки предмета. Лица эти принадлежатъ двумъ противоположнымъ концамъ Европы, оба стоятъ одинаково высоко въ свѣтской іерархіи и живутъ широкой практической дѣятельностію, которая объясняетъ отчасти независимость и ширину ихъ взгляда и совершенную свободу отъ школьной ограниченности; оба резюмируютъ въ себѣ все критическое направленіе XVI вѣка, до начала реформаціи, и оба дополняютъ другъ друга съ двухъ концовъ Европы, изслѣдуя жизнь—одинъ со стороны политической, другой со стороны общественной, это Макиавелли и Томасъ Моръ.

ГЛАВА III.

Макиавелли.—Сужденія о немъ.—Очищеніе его отъ схоластиковъ и гуманистовъ по внѣшней формѣ твореній.—Два коренные мотива разлада его съ современнымъ порядкомъ: римскій дворъ и тираниія, и два противоядія; il Principe и рѣчи о Титѣ Ливіѣ.—Содержаніе и настоящій смыслъ этихъ сочиненій.—Особенность и характеръ всего ученія.—Крутые совѣты и ихъ противники.—Слабая сторона ученія не тамъ, гдѣ ее обыкновенно указываютъ.—Общій выводъ относительно всего ученія.

Николо Макиавелли родился во Флоренціи въ 1469 году, принадлежа къ древнему, но обѣднѣвшему роду. На двадцать пятомъ году жизни онъ поступилъ въ ученики къ знаменитому знатоку древностей Marcello de Virgiliis Adriani. Четыре года спустя онъ былъ сдѣланъ уже секретаремъ Совѣта Десяти и занималъ это мѣсто въ теченіе 14-ти лѣтъ до возвращенія Медичисовъ. Въ теченіе этого времени онъ былъ часто уполномочиваемъ для дипломатическихъ сношеній: былъ четыре раза во Франціи и два въ Германіи. Но съ возвращеніемъ Медичисовъ прекратилась его правильная политическая дѣятельность. Онъ былъ даже заподозрѣнъ въ заговорѣ противъ послѣднихъ, преданъ пытке, на которой, впрочемъ, ни въ чемъ не сознался. Здѣсь-то началась собственно его авторская дѣятельность. Удаленный отъ дѣлъ государственныхъ, въ очень необъемистыхъ трудахъ онъ высказалъ ту пронизательную силу взгляда на дѣла общественнаго порядка и то вѣрное политическое чувство, которыя сдѣлали его надолго

послѣ смерти живымъ орудіемъ событій, наставникомъ разныхъ политическихъ дѣятелей; но чтобы дойти до ясной оцѣнки и пониманія его, нужны были цѣлыя вѣка порицанія и литературная груда критикъ, комментаріевъ, жизнеописаній и переводовъ въ концѣ которыхъ Макиавелли все-таки врядъ ли еще совершенно понять. Здѣсь не мѣсто останавливаться надъ всѣми мнѣніями и догадками, которыя были испытаны для объясненія этого необъяснимаго человѣка. Вѣкъ его не призналъ; въ его совѣтахъ видѣли средства предательства и тираніи; надъ его именемъ почти три вѣка лежало проклятіе; противъ котораго едва рѣшались на нѣкоторыя возраженія. Извѣстны слова, которыя сказалъ о немъ Бэконъ; другіе хотѣли отгадать у него сатиру надъ обыкновенными пріемами королей и политиковъ или только изображеніе этихъ пріемовъ (Траяно Боковини, Радикати, Ренваль и Арто); третьи извиняли его нравственной испорченностью современной ему Италіи, видя въ немъ горячаго патріота (Фр. Шлегель и Маколей.) Но всего этого врядъ ли достаточно *).

То противорѣчіе, которое мы указали выше между дѣйствительнымъ строемъ жизни и схоластикой, и которое привело эту жизнь и отчасти писателей къ признанію истинъ, уже не совсѣмъ согласныхъ съ схоластическимъ толкомъ и чуждыхъ гуманизма, встрѣчается и у Макиавелли. Но если политическія понятія, приведенныя нами выше изъ французскихъ свидѣтельствъ, были значительно чужды схоластическому толку, то отрицаніе его которое мы встрѣтимъ у Макиавелли, превзойдетъ все.

Это отрицаніе совершенное: въ немъ нѣтъ ничего недосказаннаго, ни малѣйшей родственной связи со схоластикой. Оно выражено со всѣхъ сторонъ: въ вѣншемъ настроеніи ученія, въ тѣхъ мотивахъ, которые даютъ содержаніе ученію и по поводу которыхъ пишетъ Макиавелли, и наконецъ въ самомъ

(*) Подробный обзоръ всѣхъ мнѣній, выраженныхъ о Макиавелли см. R. Mohl Macchiavelli-Litteratur Staatswiss. III.

возврънн на право, которое вытекаетъ изъ смысла всего ученія.

Разладъ Макиавелли со схоластикою проглядываетъ прежде всего уже во внѣшнемъ характерѣ его твореній. Ни въ одной строкѣ, ни въ одномъ словѣ не выказывается у него малѣйшаго вниманія къ самой культурѣ, которая ему предшествовала и должна еще его окружать, и главнымъ двигателемъ которой былъ римскій дворъ; ни одинъ писатель, ни одно мнѣнiе, толкъ, теорія схоластическая или языческая — не удостоиваются его вниманія, ни даже намека. Онъ пишетъ, какъ совершенный творецъ науки, до котораго не существовало ни одного написаннаго слова. Омору его мыслямъ даютъ факты, и это единственный матеріалъ, который онъ беретъ изъ прошедшаго.

Онъ противопоставляетъ свое политическое ученіе схоластикѣ и всему книжному дѣлу, ему предшествовавшему, самъ не упоминая о нихъ вовсе, никого не браня, не оспаривая, ни о комъ не вспоминая даже, и въ этомъ-то нѣмомъ, сплошномъ отрицаніи, въ этой самостоятельности, которая ничѣмъ не держится за прошедшее, ни даже сатирой, — сказывается тотъ характеръ обновленія, который разомъ заявляетъ силу писателя, придавая его твореніямъ особую свѣжесть и интересъ. Еслибъ онъ приписывалъ какое нибудь благотворное вліяніе въ политической жизни и практическое значеніе не только трудамъ Фома Аквината или Марсилія, но и древнихъ философовъ, еслибъ онъ могъ видѣть тамъ что нибудь, на что можно бы было рассчитывать для опоры своихъ мыслей, — они бы не ускользнули, конечно, отъ его вниманія.

Но выкая въ характеръ этихъ мыслей, выясняя взглядъ Макиавелли на человѣческую природу и то пониманіе нравственныхъ началъ и природы права, которое должно быть выведено изъ смысла его ученія; выкая прежде всего въ тѣ мотивы, которые служатъ главнымъ рычагомъ его творческой дѣятельности, можно понять, что Макиавелли и не могъ применить никакой стороной къ прошедшимъ теоріямъ, — такъ рѣзокъ и

крутъ былъ тотъ шагъ, который пытаюсь сдѣлать сознание въ его трудахъ.

Мотивовъ этихъ два: ненависть къ папской власти какъ источнику разврата и народнаго раздѣленія италіи, и ненависть къ тиранніи. Вотъ какъ выражается онъ о той и другой. „Нѣтъ сомнѣнія“, говоритъ онъ: „еслибъ съ самаго начала христіанскаго общества, вѣра сохранилась въ своей первобытной чистотѣ, христіанскія государства и республики были бы гораздо менѣе раздроблены и болѣе счастливы, чѣмъ они теперь. Нельзя представить болѣе сильнаго доказательства ея упадка и скорой гибели, замѣчая, что народы самые близкіе къ Римской церкви и ей подчиненные, чѣмъ они ближе къ ней, тѣмъ менѣе религіозны. Кто всмотрится въ тѣ начала, которыя вложены въ ея основаніе, кто пойметъ, какъ искажены и истерты эти начала тѣми примѣненіями, которыя изъ нихъ дѣлаются,—согласится, что не далеко время ея крушенія или, еще болѣе, сильныхъ бурь.“

„Но такъ какъ есть люди, которые думаютъ, что благоденствіе Италіи зависитъ отъ Римской церкви, то да будетъ мнѣ позволено сдѣлать противъ этого нѣсколько возраженій, изъ которыхъ два кажутся неоспоримы. Я утверждаю прежде всего, что дурной примѣръ этого двора изгналъ изъ Италіи всякое набожное и религіозное чувство. Отсюда—безчисленныя распри и безпорядки; ибо если тамъ, гдѣ есть религія, предполагаются всѣ добродѣтели, — гдѣ ея нѣтъ, нужно предположить всѣ пороки. Итакъ первая заслуга, которую намъ оказала церковь и духовенство была та, что она отняла у насъ религію и снабдила всѣми пороками. Но она намъ оказала еще большую, которая будетъ причиной ея гибели: она поддерживала въ насъ постоянное раздѣленіе. Никакая страна не можетъ пользоваться единствомъ и благосостоиніемъ, не будучи подчинена одному правительству, монархическому или республиканскому, какъ, на примѣръ, Франція или Испанія.—И если управленіе Италіи

не организовано въ одно, то она этимъ обязана исключительно церкви. Она приобрѣла въ ней, правда, свѣтскую власть, но она не была достаточно сильна, чтобы подчинить себѣ всю Италію. Она не была и такъ сильна, чтобы не опасаться за свои собственныя владѣнія и не призывать чужія державы. для защиты себя противъ угрожавшихъ ей мѣстныхъ владѣтелей. Такъ она призвала Карла Великаго для изгнанія ломбардцевъ, которые овладѣли уже цѣлою Италіей; такъ въ наше время она ослабила власть Венеціи съ помощью Франціи, и впоследствии изгнала французовъ съ помощью Швейцаріи...“

„Всѣмъ этимъ мы обязаны Римскому двору. Для того, чтобы убѣдиться въ этомъ на опытѣ, нужно было бы имѣть достаточно силы, чтобы отправить Римскій дворъ, наприимѣръ, въ Швейцарію, перенести его въ среду народа, который въ отношеніи религіи и военной дисциплины сохранилъ болѣе всего старинной стойкости. Тогда увидѣли бы, какъ быстро политика и интриги этого двора породили бы здѣсь болѣе безпорядковъ и развили пороковъ, чѣмъ это могла бы сдѣлать какая бы то ни было другая причина.“

Не менѣе яркими красками описываетъ Макиавелли въ исторіи древняго Рима царствованія такихъ правителей, какъ Калигула или Неронъ.

„Разсматривая царствованія этихъ правителей, говоритъ онъ, мы найдемъ ихъ, окровавленными войнами и столь же жестокихъ во время мира; сколько властителей зарѣзанныхъ, столько же войнъ внутреннихъ и внѣшнихъ; Италія подавленная горемъ, ежедневно испытываетъ новыя несчастія; города ея разрушены и стерты. Мы увидимъ Римъ, обращенный въ пещель, Капитолій, опрокинутый его собственнымъ населеніемъ, древніе храмы оскверненными, обряды искаженными и во всякомъ домѣ вселившееся прелюбодѣяніе. Мы увидимъ море, покрытое изгнанниками, и его скалы, опачканныя кровью, Римъ, предающійся злодѣйствамъ безъ конца.... Мы увидимъ наемъ

и награжденіе доносчиковъ, подкупленныхъ рабовъ, становящихся господами, вольноотпущенныхъ, возстающихъ противъ своихъ патроновъ, и тѣхъ, которые не имѣли враговъ, угнетаемыхъ друзьями. Тогда мы оцѣнимъ все, чѣмъ обязаны Римъ, Италия и цѣлый свѣтъ Цезарю; и если мы только люди, безъ сомнѣнія отвернемся съ ужасомъ отъ всякаго подражанія этимъ временамъ порчи и захотимъ вернуть къ жизни болѣе свѣтлыя.“

Мы выписали эти выраженія не безъ особаго намѣренія. Вездѣ ровный, сдержанный, одинаково спокойно предписывающій убійство и карающій слабость, Макиавелли, касаясь двухъ предметовъ -- Римской церкви и тиранніи, не выдерживаетъ своего античнаго спокойствія въ слогѣ и оборотахъ рѣчи. Здѣсь только его рѣчь вырывается изъ границъ и разрѣшается пафосомъ, ему несвойственнымъ. Два предмета: власть Римскаго двора и тиранія, ему одинаково ненавистны, и составляютъ предметъ его вражды какъ писателя и практическаго дѣятеля.

Эти два мотива даютъ начало двумъ отдѣльнымъ трудамъ: рѣчамъ о Титѣ Ливіѣ и Il Principe. Точка отправленія далеко не схоластическая. Стремленіе къ устройству національнаго благосостоянія помимо всѣхъ цѣлей отвлеченныхъ, или схоластическихъ, даетъ начало главному труду его. Разсужденія на первыхъ десять книгъ Тита Ливія — это чисто практическое установленіе началъ здраваго политическаго устройства, соотвѣтствующаго народному благосостоянію, основанное на критическомъ разборѣ римскихъ политическихъ установленій. Но раньше чѣмъ думать объ измѣненіи политическаго устройства Италии, на такихъ лучшихъ основаніяхъ, указанныхъ въ книгѣ о Титѣ Ливіѣ нужно справиться съ однимъ существеннымъ препятствіемъ. Такое препятствіе, по мнѣнію Макиавелли есть Римскій дворъ. Избавленіе Италии отъ Римскаго двора и соединеніе ее въ одно цѣлое становится для него той первой практической задачей, до разрѣшенія которой все, изложенное имъ въ первомъ трудѣ, должно остаться на воздухѣ. Единства Италии, во что

бы то ни стало, требуетъ счастье его родины; и вотъ по какому поводу онъ пишетъ *Il Principe*.

Оба сочиненія написаны такимъ образомъ для двухъ различныхъ цѣлей, но эти цѣли сходятся въ концѣ все-таки къ одной: *salus populi suprema lex esto*. Одно излагаетъ путь, какимъ можетъ утвердиться и окрѣпнуть центральная власть, залогъ народнаго единства, помимо котораго Макиавелли не видитъ благосостоянія; другое излагаетъ принципы лучшаго внутреннего устройства внутри централизованной национальности.

Шаткость мнѣній, которая господствуетъ отчасти еще до сихъ поръ насчетъ настоящаго смысла обоихъ сочиненій, заставляетъ остановиться насъ нѣсколько надъ ихъ общей характеристикой. Особеннымъ упрекамъ подвергался *Il principe*. Эту книгу до сихъ поръ не могутъ согласить съ первымъ трудомъ Макиавелли, и въ двухъ сочиненіяхъ видятъ до сихъ поръ двухъ Макиавелли: одного — республиканца, другаго — деспота.

Тѣ, которые думали, что *Il Principe* заключаетъ въ себѣ наставленія тирану и затруднялись согласить его съ первымъ трудомъ Макиавелли — забывали, что книга о князѣ вовсе не касается внутренней политики, что она учитъ только утвердить власть, централизовать народныя части, что цѣль ея совершенно частная, предварительная, необходимая тогда, по убѣжденію Макиавелли, для раздробленной Италіи, да и не для одной Италіи это было нужно въ XVI столѣтіи.

То, чего требовалъ Макиавелли въ XVI вѣкѣ въ своемъ *Il Principe*, теперь только начинаетъ понимать Италія. Въ немъ скрытъ вопросъ, который теперь она только рѣшаетъ или еще не рѣшила.

Въ этомъ смыслѣ твореніе Макиавелли представляетъ собой не только понятый вопросъ Итальянской политики, оно представляетъ понятый вопросъ общей политики всѣхъ европейскихъ обществъ, вопросъ, обойти который не удалось ни одному изъ нихъ, не осудивъ себя на внутреннюю слабость.

Мы не говоримъ пока о томъ, въ какомъ духѣ Макиавелли полагалъ рѣшить этотъ вопросъ; онъ сдѣлалъ это, конечно, примѣняясь къ нравамъ вѣка и положенію Италіи, то есть сдѣлалъ, какъ могъ практичнѣе и послѣдовательнѣе. Мы устанавливаемъ пока настоящій смыслъ творенія, болѣе всѣхъ остальныхъ трудовъ Макиавелли подвергшагося несправедливымъ нападкамъ и ложнымъ толкованіямъ. Еще въ разсужденіяхъ о Титѣ Ливіѣ, говоря о ядовитомъ вліяніи Римскаго двора, онъ выразился, что никогда страна не можетъ пользоваться единствомъ и благосостояніемъ, не будучи подчинена одному правительству, монархическому или республиканскому. Эти слова могутъ указать намъ, какъ онъ смотрѣлъ самъ на свою книгу о Князѣ чего должны мы искать въ этой книгѣ. Но еще яснѣе виденъ характеръ этого сочиненія изъ заключительной главы его, которая носитъ заглавіе: „воззваніе къ освобожденію Италіи отъ иноземцевъ.“

„Когда я пересматриваю, пишетъ тутъ Макиавелли, все изложенное и спрашиваю: благоприятны ли обстоятельства установленію новаго правительства, которое сдѣлало бы столько же чести тому, кто его создалъ, сколько было бы выгодно Италіи, мнѣ кажется, что не было и не будетъ времени, болѣе удобнаго для исполненія такого предпріятія.“

„Если необходимо было, чтобы евреи вытерпѣли египетскій плѣнъ для того, чтобы оцѣнить рѣдкія качества Моисея; чтобы персы страдали подъ игомъ мидянъ, и т. д., то нужно было также, для того, чтобы оцѣнить достоинство освободителя Италіи, чтобы наша несчастная страна вытерпѣла худшую долю, чѣмъ Персія, чтобы ея населеніе было болѣе разъединено, чѣмъ афиняне; наконецъ, чтобы оно было безъ закона, власти, ограблено, терзаемо, угнетено чужеземцами. Безъ сомнѣнія, являлись изрѣдка люди такой силы, что можно было ихъ принять за посланниковъ неба для ея освобожденія; но судьба, казалось, хотѣла покидать ихъ посреди ихъ замысла, такъ что

наше несчастное отечество стонетъ еще и сохнетъ, въ ожиданіи освободителя, который бы положилъ конецъ опустошеніямъ Ломбардіи, Тосканы и Неаполя. Оно молитъ судьбу послать властителя, который бы освободилъ ее отъ постыднаго и ненавистнаго ига чужеземцевъ, который бы закрылъ многочисленныя раны, столь давно его мучація, подъ знаменемъ котораго оно могло бы встать на борьбу съ своими жестокими притѣснителями“ *).

Къ такимъ словамъ прибавлять, кажется, нечего; изъ нихъ и безъ того ясно; утвержденію какой власти Макиавели хотѣлъ учить въ своемъ *Il Principe*: тираніи и простымъ завоеваніямъ, безъ разбора направленнымъ къ подавленію чужихъ правъ, и благосостоянія — или власти, которая могла бы скрѣпить національное тѣло, оградить его отъ внѣшнихъ вторженій, постоянного разложенія и растлѣнія чужеземцами. Онъ ставитъ единство страны въ первое условіе ея политическаго счастья, и три съ половиною вѣка, истекшіе съ тѣхъ поръ и событія, которыя разыгрываются въ нашихъ глазахъ теперь, болѣе чѣмъ оправдали его слова.

Итакъ вопросъ національнаго единства видѣлъ самъ Макиавелли въ своемъ *Il Principe*, когда посвящалъ его Лоренцо Медичи. Съ этой стороны онъ выше всякой критики.

Если взглянуть затѣмъ сколько нибудь въ положеніе чело­вѣка уничтоженнаго, подавленнаго обстоятельствами, заподозрѣннаго въ заговорѣ какъ республиканца, лишеннаго средствъ личной дѣятельности, можно удивляться только практическому смыслу, съ которымъ этотъ чело­вѣкъ, примѣняясь къ тяжелымъ условіямъ, которыя его окружали, думалъ овладѣть этими усло­віями для того, чтобы извлечь все добро, которое можно было, извлечь изъ обстоятельствъ разрушительныхъ и тяжелыхъ. Какъ угадана была въ этомъ замыслѣ тайна чело­вѣческой природы, —

*) *Il Principe*. С, XXVI.

болѣе, тайна исторiи! Лоренцо Медичи стоялъ ниже цѣли, которую ему вручалъ Макиавелли, и непонималъ его какъ и всѣ цѣлители Макиавелли въ продолженiе нѣсколькихъ вѣковъ. Понятый иначе, чѣмъ онъ понималъ самъ себя, онъ имѣлъ школу, но—какъ проповѣдникъ вѣроломства. Непонятый вовсе не въ настоящемъ смыслѣ своего ученiя, онъ остался нулемъ для науки и съ нимъ вмѣстѣ осталась мертвой буквой для науки та именно прагматическая сила, то здравое пониманiе жизни и способность овладѣвать ея насущными условiями, которыя составляютъ главную особенность его гения и самое драгоцѣнное, что скрываютъ въ себѣ его творенiя. Въ этомъ омыслѣ онъ развѣ только теперь можетъ имѣть школу.

Такое объясненiе книги о Князѣ даетъ намъ возможность понять рѣчи о Титѣ Ливіѣ.

Пока смотрѣли на Макиавелли, какъ на проповѣдника крайняго абсолютизма, упуская изъ виду ту частную цѣль, съ которою написана книга *Il Principe*, до тѣхъ поръ видѣли въ рѣчахъ о Титѣ Ливіѣ противорѣчіе первому труду. Но при томъ значенiи, которое мы приписываемъ *Il Principe*, нельзя не открыть въ книгахъ о Титѣ Ливіѣ другаго характера.

Анализируя, съ самаго начала, различные виды правленiй, Макиавелли находитъ, что всѣ они въ отдѣльности носятъ въ себѣ условiя порчи, и потому переходятъ: абсолютизмъ—въ тиранию, аристократiя въ олигархію и демократiя въ охлократію. Лучшимъ средствомъ противъ такихъ послѣдствiй Макиавелли считаетъ соединенiе всѣхъ трехъ началъ, монархическаго, аристократическаго и демократическаго вмѣстѣ *).

Исторiя азиатскихъ и греческихъ государствъ даетъ живой примѣръ шаткости правленiй, основанныхъ на одностороннемъ признанiи то начала монархическаго, то демократическаго или аристократическаго; напротивъ, управленiе Рима представляетъ

*) Tit. Liv. I. C. II.

соединеніе всѣхъ трехъ элементовъ, которые постоянно уравновѣшивали другъ друга, и составляютъ главную причину его стойкости и относительной продолжительности римской жизни. Только при такомъ условіи римская жизнь пріобрѣтаетъ крѣпость и устой, и живетъ свой лучшій блестящій періодъ, который длится до тѣхъ поръ, пока не нарушается равновѣсіе трехъ началъ, лежащихъ въ основаніи ея политическаго устройства. Равновѣсіе, правда, поддерживается постоянной борьбой сената съ народомъ, которая наполняетъ все лучшее время республики; но если вглядѣться ближе въ эту борьбу, то, нельзя не замѣтить, что она-то именно вела къ самымъ блестящимъ успѣхамъ въ законодательствѣ, поддерживала внутреннюю крѣпость жизни и славу ея внѣшней политики. Если вглядѣться ближе въ послѣдствія этой борьбы, которая представляетъ на первый взглядъ рядъ беспорядковъ, то должно сознаться, что она не стоила гражданамъ ни слишкомъ кровавыхъ несчастій, ни крутыхъ мѣръ. „Во всякой республикѣ“, говоритъ Макіавелли: „есть двѣ партіи — народа и избранныхъ; и всѣ законы, благопріятствующіе свободѣ, рождаются только изъ ихъ противорѣчія. Отъ Тарквинія до Гракховъ, то есть въ теченіе 300 лѣтъ, смуты въ Римѣ причинили очень малое число изгнаній и стоили очень мало крови. Можно ли поэтому считать ихъ особенно вредными и гибельными для республики, которая въ теченіе столькихъ лѣтъ изгоняетъ не болѣе 10 гражданъ, казнить самое ничтожное число и даже очень мало приговариваетъ къ денежнымъ штрафамъ? Вправѣ ли мы назвать беспорядочную жизнь республики, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ блеститъ столько добродѣтелей? Что воспитало ихъ, какъ ни хорошія установленія, бывшія въ свою очередь плодомъ тѣхъ волненій, которыя многіе порицаютъ незаслуженно.

„Для избѣжанія споровъ, нужно было по примѣру Спарты ограничить республику весьма малымъ численнымъ объемомъ, запретить въѣздъ иностранцамъ, герметически отдѣливъ ее отъ

всего остального міра или, по примѣру Венеціи, исключить народъ изъ военной службы, всѣми мѣрами не давая усиливаться ему, что значитъ обречь самую республику на вѣшнюю слабость и застой, который не замедлитъ произвести разрушительное дѣйствіе на нравы, для поддержанія которыхъ необходимъ будетъ искусственный ригоризмъ, по примѣру Спарты. Итакъ, заключаетъ Макиавелли, нужно смотрѣть на римскій антагонизмъ сената и народа, какъ на неизбѣжное неудобство для достиженія того величія, котораго достигъ Римъ“ *).

Въ этомъ отношеніи установленіе трибуновъ, какъ элемента, ограждающаго народъ, было самой лучшей гарантіей благоустройства римскаго общества. Макиавелли дѣлаетъ вопросъ— кому надежнѣе вручить охрану свободы, избраннымъ или народу, и которые изъ двухъ болѣе склонны къ производству смутъ: тѣ, которые желаютъ приобрести, или тотъ, кто хочетъ только сохранить то, что онъ имѣетъ? Макиавелли рѣшаетъ этотъ трудный вопросъ совершенно въ пользу Рима **). Разбирая доказательства, представляющіяся съ той и съ другой стороны, онъ приходитъ къ заключенію, что для государства, которое хочетъ сохранить себя въ своемъ данномъ видѣ, какъ Спарта на примѣръ, гарантія можетъ быть вѣрнѣе въ рукахъ аристократіи; но для республики, которая искала роста и развитія, какъ Римъ, обезпеченіе свободы было вѣрнѣе въ рукахъ трибуновъ ***). Въ доказательство, Макиавелли приводитъ примѣръ Коріолана, который за свое предложеніе воспользоваться случившимся голодомъ, для того, чтобы заставить народъ отказаться отъ правъ, связанныхъ съ народными трибунами, былъ бы вѣроятно растерзанъ народомъ при выходѣ изъ сената, если бы не было на лицо трибуновъ, которые могли призвать его къ законному отвѣту. За недостаткомъ такихъ средствъ, уста-

*) Id., С. IV и VI.

**) Id., С V.

***) Ib., С. VII и VII

новленныхъ закономъ, прибѣгаютъ поневолѣ къ произвольнымъ, которыя производятъ безъ сомнѣнія болѣе тяжелыя послѣдствія. „Если бы Флоренція обладала подобнымъ установленіемъ, продолжаетъ Макиавелли, народъ здѣсь сумѣлъ бы расправиться съ Содерини, не призывая на помощь испанскихъ войскъ. Въ Римѣ, несмотря на всѣ споры сената съ народомъ, нѣтъ примѣровъ такого призванія чужеземной силы въ дѣла народныхъ партій“.

„Наконецъ право обвиненія служитъ самымъ благотворнымъ средствомъ противъ тайныхъ и ложныхъ обвиненій, которыя всегда имѣютъ за себя наглядность вѣроятія тамъ, гдѣ не существуетъ средствъ открытаго обвиненія, и которыя теряютъ почти всякую вѣроятность тамъ, гдѣ есть средства заявить ихъ гласно. Эта часть была превосходно устроена въ Римѣ, и ея совершенно не существовало во Флоренціи. Поэтому можно видѣть изъ флорентійской исторіи, сколькимъ клеветамъ были здѣсь подвержены постоянно, говоритъ Макиавели, лица, занимавшія государственными дѣлами первой важности. Объ одномъ говорили, что онъ расхитилъ казну, о другомъ, что онъ не достигъ извѣстнаго результата въ данномъ предпріятіи, потому что сдался на подкупъ, третьему приписывали тайные честолюбивые замыслы и т. д.“ *)

Далѣе Макиавелли ставитъ нѣсколько частныхъ вопросовъ. Кто болѣе склоненъ къ неблагодарности, спрашиваетъ онъ: народъ или князья, и признаетъ, что неблагодарность бываетъ всегда слѣдствіемъ жадности или страха; народъ не знаетъ перваго побужденія, второе же дѣйствуетъ гораздо слабѣе въ массѣ, чѣмъ въ отдѣльныхъ личностяхъ. Республики, каковою былъ Римъ, имѣютъ всегда значительный выборъ достойныхъ людей, самое число которыхъ уже предупреждаетъ возможность узурпаціи. Отсюда для каждаго менѣе возможенъ расчетъ на

*) Id., С. VIII.

такую узурпацію, вслѣдствіе чего всякій боится малѣйшаго подозрѣнія въ расчетѣ на нее. Эта осторожность и скромность доходитъ въ Римѣ до того, что во время республики лучшей доблестью для диктаторовъ было какъ можно скорѣе отказываться отъ диктатуры. Такой порядокъ вещей не внушалъ страха и потому не давалъ мѣста неблагодарности. Отъ этого же римляне, не имѣя причинъ бояться, предоставляли такую свободу распоряженія своимъ властямъ и военачальникамъ и отдавали даже почетъ генераламъ, возвращавшимся послѣ проигранныхъ битвъ **).

Мы привели достаточно примѣровъ для указанія общей характеристики книги о Титѣ Ливіѣ. Въ продолженіе всего труда, Макиавелли ставитъ цѣлый рядъ другихъ вопросовъ, которые рѣшаются въ томъ же смыслѣ. Таковы мысли правильнаго устройства политическихъ отношеній, которыя проводитъ Макиавелли. Но онъ на нихъ не останавливается: на ряду съ установленіями, приличными здоровому тѣлу, онъ разсматриваетъ аномаліи, одностороннія и потому ненормальныя положенія народной жизни, искаженной упадкомъ республиканскихъ правовъ или другимъ образомъ.

Народъ, находящійся въ положеніи долгаго бездѣйствія, говорятъ Макиавелли совершенно неспособенъ къ автономическому устройству, и пріобрѣтаетъ автономію, пріобрѣтаетъ ее для того только, чтобы сдаться въ руки новому властителю.

Точно также, устройство признаваемое Макиавелли за лучшее, въ предположенномъ автономическомъ видѣ, не можетъ подходить къ нравамъ народа, разлѣннаго среди свободныхъ условій жизни.

Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ дѣлается одинаково затруднительнымъ какъ сохраненіе свободы внутри народа, который ею пользуется, такъ и установленіе ея внутри общества, съ ней

**) Id., с. XXIII, XXIX и XXXI.

не свыкшагося. Для осуществленія того и другаго, страна во всякомъ случаѣ, заключаетъ Макиавелли, не можетъ миновать порядка вещей, приближающагося къ монархическому, потому что въ этихъ случаяхъ необходима почти царская власть, которая бы обуздала нравы. Въ такомъ положеніи находятся, на примѣръ, Миланъ и Неаполь, какъ города совершенно растлѣнные, и потому неспособные къ самоуправленію, какимъ бы крутымъ переворотомъ они не приобрѣли вдругъ свободу *).

Теперь еще яснѣе становится, какое относительное значеніе имѣютъ всѣ совѣты Макиавелли, касающіеся утвержденія централизаціи, и какое значеніе онъ долженъ былъ приписывать самъ своей книгѣ о „Князѣ“ и всѣмъ подобнымъ совѣтамъ, встрѣчающимся въ рѣчахъ о Титѣ Ливіѣ. Послѣ такого примѣренія относительной двойственности трудовъ Макиавелли ближе всего теперь перейти къ оцѣнкѣ общаго характера его мыслей. Мы знаемъ цѣли его въ политикѣ; подойдемъ теперь къ средствамъ.

Та особенность ума, которая заставила его написать *Il Principe* для Лоренцо Медичи, скрывавшая вѣрный расчетъ всѣхъ условій и оцѣнку препятствій, противъ которыхъ было бы бессмысленно подымать войну мечтаній, и затѣмъ стремленіе найти путь и средства своему дѣлу въ тѣхъ условіяхъ, наперекоръ которымъ рѣдко и трудно можетъ пойти человѣческая природа,—эта особенность необыкновенно вѣрнаго такта, пролагающаго путь къ лучшему не расчетомъ на исключительное и гадательное, а на то именно, чѣмъ переполнена жизнь и отчего она не откажется, что можно принять за вѣрный, неизмѣнный рычагъ ея,—эта особенность и составляетъ оригинальную черту ученія Макиавелли.

Вѣрность положительнымъ требованіямъ,— вотъ общій духъ Макиавелли, и здѣсь-то именно сказывается вся громадность его

*) Tit Liv., C. XVI, XVII, XVIII.

генія. Всѣ достоинства его, какъ гражданина и человѣка, блѣднѣютъ и стираются передъ той практической силою, которою дышитъ его теорія. Эта сила невѣроятная, подавляющая. Чтобы понять ее, нужно было нѣсколько вѣковъ; да и теперь еще на оправданіе ея не согласятся многіе.

Приведенныя выше мѣста о тиранніи и папской власти почти единственныя, гдѣ Макиавелли прямо является передъ нами, какъ гражданинъ и патріотъ, гдѣ самый слогъ его теряетъ свое обыкновенное спокойствіе и становится лихорадочнымъ. Въ этихъ мѣстахъ, очень немногочисленныхъ, Макиавелли—философъ всѣхъ временъ и народовъ, философъ, недосыгаемый по спокойствію рѣчи и взгляда, сяцающаго объять всѣ условія и изгибы политическихъ отношеній, въ какомъ бы испорченномъ и тяжеломъ видѣ ихъ ни дали факты. Отъ него вѣетъ холодомъ, непобѣдимымъ для читателя, мало знакомаго съ правдой политической жизни. Самое равнодушіе рѣчи, безъ малѣйшей перемѣны въ тонѣ и прикрытія или оправданія, съ полной простотой и смѣлостью, порицающей отступленіе передъ мѣрами болѣе чѣмъ крутыми, и оправдывающей мѣры болѣе чѣмъ энергическія—устрашаетъ. Нужна долгая повѣрка ихъ фактами исторіи, очень зрѣлый анализъ и опытъ, не поражающійся такъ легко-вышними впечатлѣніями предметовъ, чтобы не осудить на-побѣдъ этой жесткости и не оттолкнуть отъ себя скрытаго въ ней пониманія, жизни. Нужно много смѣлости, говоримъ мы, чтобы не остановиться на этомъ первомъ впечатлѣніи, не побѣдивъ котораго нельзя угадать руководную мысль, которая оправдывала всю теорію въ глазахъ самого автора.

Но таковъ будетъ всегда, болѣе или менѣе, характеръ системы, близко подходящей къ жизни, исполненной тяжелыхъ явленій. Если эта система, не останавливаясь ни за какимыя испорченныя положенія политическихъ отношеній, а входя во всѣ превратности, захочетъ противопоставить имъ не идеальную форму жизни, а указать вмѣстѣ съ тѣмъ ближайшій

политическій путь къ лучшему — эта система поневолѣ сама будетъ поражать такими же противорѣчіями.

Даже тѣ, которые строили общественную жизнь по идеальнымъ началамъ, — мы говоримъ здѣсь не объ утопистахъ, — не миновали жестокостей въ жизни, несмотря на всю нравственность своихъ плановъ. Схоластика была также построена на идеализмѣ, но этотъ идеализмъ въ результатѣ пришелъ къ той суммѣ золъ, надъ которыми приходилось теперь задумываться Макиавелли. Она создала порядокъ вещей, среди котораго жестокость стала простой, обиходной вещью, потому что ею была переполнена жизнь черезъ край. Что же могъ найти мыслитель-практикъ, не расплывающійся въ безплодныя галлюцинаціи, не вѣрящій въ повальное добро тамъ, гдѣ жизнь его почти не показывается? Онъ былъ ограниченъ насущнымъ продуктомъ жизни; прижънясь къ нему, онъ цѣнилъ человѣческую природу, и въ этомъ капиталѣ искалъ средствъ къ улучшенію жизни. Болѣе рѣшительный и вѣрный планъ задумать было трудно.

Останавливаясь надъ извѣстнымъ положеніемъ общественной испорченности, онъ стремится привести ее къ лучшему, переломить эту порчу и жестокость отношеній, силою тѣхъ же явленій, которыя лежатъ въ нихъ и которыя ихъ сдѣлали такими, направивъ эти же самые явленія къ улучшенію того, что они портятъ и губятъ.

Макиавелли одинаково говорить о республикѣ и монархіи объ олигархіи и охлократіи, и силится вездѣ выяснить одинаково тѣ пути и средства, которыя во всѣхъ этихъ данныхъ условіяхъ жизни могутъ лежать подъ рукою и быть вѣрными орудіями для того, чтобы направить ихъ ко благу и счастью людей. Что можетъ быть реальнѣе такого приѣма? Взглядъ его на человѣческую природу, правда, тяжелъ. Но онъ вовсе не отвергаетъ добродѣтели, онъ даже разсчитываетъ на нее. Затѣмъ, если жизнь не даетъ достаточной суммы доблестей и нравственности, чтобы можно

было основать на ней какой либо твердый расчетъ, развѣ это его вина? Онъ имѣетъ дѣло съ жизнью такою, какъ она есть, а не какою онъ хотѣлъ бы ее можетъ-быть видѣть. Эта жизнь безчисленными фактами слагаетъ въ немъ убѣжденіе, что люди дѣлаютъ добро изъ нужды. Коль скоро они имѣютъ возможность творить безнаказанно зло, они скоро вносятъ всюду смуты и беспорядки. Это заставило сказать: бѣдность побуждаетъ людей къ работѣ, а законъ заставляетъ; гдѣ можетъ дѣлаться добро безъ принужденія, можно обойтись безъ закона; но разъ это счастливое побужденіе дѣлать добро исчезаетъ — законъ становится необходимымъ “*).

Кому принадлежитъ такая оцѣнка общественнаго характера человѣка: собственно Макиавелли или самой жизни, — предоставляемъ судить читателю, полагаясь на его собственный опытъ.

Для Макиавелли она составляетъ основной афоризмъ, котораго онъ не забываетъ ни въ одномъ отвѣтѣ на свои политическіе вопросы, и едва ли не ту основную мысль, посредствомъ которой, такъ твердо врыта въ землю вся его теорія. Вѣрный въ ней фактамъ, не отходя ни на шагъ въ отвлеченія или мечтательныя построенія, онъ подымаетъ изъ общественной и насущной грязи все, что въ ней неотразимо, неумолимый залогъ чего онъ читаетъ въ корнѣхъ человѣческой природы, и въ этой грязи ищетъ средствъ искупленія. Отъ этого онъ не отворачивается ни передъ какимъ началомъ и берегъ его съ тѣмъ же равнодушіемъ, съ какимъ даетъ его самая жизнь. Онъ знаетъ, что дико и бессмысленно подходить къ Медичи съ народными потребностями, къ народу, растлѣнному продолжительнымъ рабствомъ, съ примѣрами античной республиканской доблести, и потому онъ ни разу не задумывается надъ ними и ищетъ другихъ средствъ, болѣе соответствующихъ, на которыя можно рассчитывать для народнаго блага, среди порядка, обружающаго Медичи.

(* Tit Liv I, C XXXII.

И въ рѣчахъ о Титѣ Ливіѣ, и въ Князѣ онъ одинаково вѣренъ такому приему. Онъ привлекаетъ пользу для народа одинаково изъ всего: изъ властолюбія и абсолютизма, изъ развитія централизаціи и изъ парализаціи ея, изъ крутыхъ средствъ и мягкихъ, — все для него можетъ быть хорошо въ свое время и на своемъ мѣстѣ. Все должно быть измѣнчиво, согласно съ измѣненіемъ обстоятельствъ. Если установленіе абсолютизма въ одномъ случаѣ можетъ вести къ укрѣпленію народнаго организма, то въ другомъ и въ другое время, среди здоровыхъ республиканскихъ нравовъ, оно ведетъ къ народной гибели. Отсюда такъ широкъ его политическій кругозоръ. Въ этомъ видятъ у него обыкновенно противорѣчія, тогда какъ въ сущности это ничто иное, какъ самая строгая послѣдовательность. Зло для него рѣшительно все, что примѣняется не тамъ и не такъ, какъ слѣдуетъ; напротивъ, все оправдывается и все служитъ съ выгодой для народа, если оно употреблено, какъ слѣдуетъ. „Но главный недостатокъ людей, какъ говоритъ онъ самъ состоитъ именно въ томъ, что они рѣдко совершенно злы или добры; что совершая злодѣйство тамъ, гдѣ это ведетъ прямо къ общему вреду, — они оказываются слабы и мягкосерды тамъ, гдѣ обстоятельства требуютъ отъ нихъ энергіи“. Въ подтвержденіе, этого Макиавелли рассказываетъ слѣдующій примѣръ. Въ 1505 году папа Юлій II направился къ Болоньи, чтобы выгнать родъ Бентиволіо, правившій здѣсь болѣе ста лѣтъ; онъ хотѣлъ также отнять Рагузу у Ионна-Павла Бальони, имѣя въ виду уничтожить всѣхъ властителей, сидѣвшихъ на земляхъ церкви. Впопль рѣшившись исполнить свой замыселъ, вслѣдствіе своего заносчиваго характера, папа, не дождавшись своего войска, входитъ почти одинъ и встрѣчается съ противникомъ, окруженнымъ войсками. Случай и увлеченіе сдавали такимъ образомъ этого человѣка прямо въ руки Бальони. Но смѣлость папы удается. Вмѣсто того, чтобы быть схваченнымъ, онъ уводитъ Бальони и оставляетъ на мѣстѣ церковное правительство. Умные люди уди-

влялись двумъ вещамъ въ этомъ событіи: смѣлости папы и низости Бальони. Они не могли понять, какъ человѣкъ этотъ могъ удушить изъ рукъ лучшей случай обезсмертить свое имя — унижить врага и воспользоваться добычей, которую доставила бы въ его руки папская свита. Никто не могъ предположить, чтобъ онъ удержался по добротѣ или по совѣсти: ни малѣйшаго чувства религіи не могло оставаться въ сердцѣ этого страшнаго человѣка, который растлилъ сестру, и для того, чтобы добиться власти, перерѣзалъ своихъ братьевъ и племянниковъ. Изъ этого нельзя не заключить, что люди не умѣютъ быть ни совершенно хороши, ни преступны съ достоинствомъ, и если злодѣйство представляетъ нѣкоторый видъ величія, они не умѣютъ совершить его. „Такъ“, заключаетъ Макиавелли: „этотъ человѣкъ, который не стыдился быть публично кровосмѣсителемъ и убійцей родственниковъ, не умѣлъ или, лучше сказать, не нашелъ достаточно мужества въ себѣ для того, чтобы воспользоваться случаемъ для исполненія дѣла, въ которомъ всякій уважилъ бы его находчивость, и которое бы его обезсмертило, потому что онъ первый показалъ бы главамъ церкви, какъ мало должно цѣнить людей, которые живутъ и царствуютъ, какъ они; онъ совершилъ бы, словомъ, преступленіе, величіе котораго искупило бы его гнусность и поставило бы его внѣ опасностей, которыхъ онъ могъ ждать для себя отъ такого дѣла“ *).

Въ этомъ неумѣіи людей владѣть совершаемыми ими поступками, въ этой слѣпой безпорядочной игрѣ тѣхъ же явленій, не направленныхъ согласно благой цѣли, заключается для Макиавелли все зло жизни и все ея тяжелыя послѣдствія. Поэтому нужно научить людей примѣнять совершаемое ими ежедневно добро такъ, чтобы то и другое стало дѣйствительнымъ добромъ, а не отвлеченнымъ, номинальнымъ, какимъ оно являет-

*) Tit. Liv. I, C. XXVII.

ся въ случайномъ круговоротѣ явленій. Во-вторыхъ, нужно изыскать такое сечетаніе общественныхъ мѣръ, которое бы укладывало поступки людей такъ, чтобы они могли имѣть значеніе дѣйствительно выгодное и потому значеніе дѣйствительнаго добра. И тому и другому одинаково хочеть учить Макиавелли.

Теперь ясно отношеніе Макиавелли къ самому существу возрѣнія на природу права или нравственности.

Отвлеченный этической дуализмъ Аристотеля является у Макиавелли рѣшительно ниспровергнутымъ; самое совершенное безразличіе признается за дѣянiami въ существѣ, и новый дуализмъ, новая нравственность и безнравственность, правда и неправда явленій опредѣляется практическимъ ихъ отношеніемъ къ жизни—добро или правда объявляются не безусловными, а относительными.

Потому нѣтъ у Макиавелли никакого представленія о безусловномъ естественномъ правѣ, какъ природномъ законѣ челоѣческаго порядка, вложенномъ въ сердце или выраженномъ буквой, еще менѣе о каталогѣ добродѣтелей или преступленій. Отвлеченное право подрѣзано въ корнѣ; все поставлено въ зависимость отъ измѣнчивости мѣста, времени, данныхъ обстоятельствъ, которыя и даютъ характеръ поступку или факту; вслѣдствіе того не можетъ быть и мысли о возможности начертать разъ навсегда опредѣленный образъ дѣйствія, закабалить жизнь неизмѣнными формами и отношеніями, изъ которыхъ она не должна была бы двинуться, начертать извѣстную систему политическаго устройства и законодательства; невозможность понять жизнь, какъ безусловную форму, а возможность понять ее только какъ искусство, невозможность дать разъ навсегда готовый планъ ея, а возможность дать только рядъ практическихъ совѣтовъ, которые бы могли, безъ всякаго различія явленій, направлять жизнь къ лучшему. Въ корнѣ такого-то ученія можно видѣть настоящее отдѣленіе права отъ нравственности, а не тамъ, гдѣ его отыскивала позднѣйшая нѣмецкая эрудиція.

Такіе только совѣты дѣйствительно и даетъ Макиавелли. Все его ученіе слагается изъ ряда отрывочныхъ вопросовъ и отвѣтовъ на частныя практическія задачи политическаго порядка, въ результатѣ которыхъ читатель получаетъ рядъ афоризмовъ.

Все ученіе представляетъ собой, такимъ образомъ, до крайности пеструю массу наблюдений, столь же разнообразныхъ, какъ самая жизнь, изъ которой они берутся, и потому столь же противорѣчащихъ другъ-другу на первый взглядъ. Эти противорѣчія могутъ быть объяснены и примирены только съ той особенной точки зрѣнія, которая составляетъ всю основу мыслей Макиавелли и которую мы старались указать. Но это обобщеніе предоставляется совершенно на собственные средства читателя, авторъ самъ не даетъ его; мало того, обобщеніе это сдѣлать несовершенно легко, и потому первый слѣдъ, оставаемый всѣмъ ученіемъ — безсознательно тяжелое впечатлѣніе, на которомъ большинство и останавливается оцѣнку всей системы, но которое ослабѣетъ по мѣрѣ болѣе внимательнаго анализа.

Особенно свѣтлаго мысли Макиавелли не представляютъ, конечно, и по тщательномъ ихъ разборѣ; но онѣ нисколько не мрачны, по крайней мѣрѣ, самой жизни, изъ которой взяты. Составляя вѣрнѣйшій снимокъ съ этой жизни, онѣ на столько могутъ представлять утѣшительнаго, на сколько можетъ представлять успокоивающаго жизнь, основанная на частной войнѣ еще въ средневѣковомъ видѣ.

Наперекоръ этой-то войнѣ стремится все ученіе Макиавелли съ одинаковой силой и въ рѣчахъ о Титѣ Ливіѣ и въ *il Principe*; и здѣсь-то съвозъ всю отрывочность изложенія ряда частныхъ, другъ съ другомъ непосредственно несвязанныхъ афоризмовъ, въ видѣ которыхъ является передъ нами все ученіе, нельзя не замѣтить общаго пракческаго вывода, котораго не показываетъ намъ авторъ, но который свѣтлымъ

лучемъ выходить самъ собой и слагается изъ знакомства съ частными афоризмами. Вы не можете отказать Макиавелли въ одной мысли, проведенной сквозь все твореніе о Титѣ Ливіѣ: что народныя средства служатъ вездѣ или, по крайней мѣрѣ, большею частію лучшей гарантіей благосостоянія и лучшимъ проводникомъ свободы.

Въ результатѣ бѣлаго взгляда на оба творенія нельзя не признать поэтому; что не только жизнь, которая служитъ ихъ предметомъ, далеко въ нихъ не облеветана; но въ основѣ обоихъ трудовъ лежитъ одинаково явственное стремленіе поднять эту жизнь изъ того тяжелаго раздора, въ которомъ она мечется, и открыть въ ней, гдѣ только можно, свѣтлыя условія порядка. Но тамъ, гдѣ эти условія кажутся для Макиавелли невозможны, тамъ, гдѣ онъ не видитъ исхода помимо крутыхъ и исключительныхъ мѣръ, тамъ онъ неумолимъ и рѣшителенъ, тамъ его совѣты окрашены кровью. Онъ хвалитъ Ромула за убійство его соправителя; онъ прямо говоритъ, что жестокости всегда хорошо примѣнены (хотя и прибавляетъ впрочемъ, „если выраженіе добра можетъ быть придано тому, что собственно дурно“), если онѣ исполняются за одинъ разъ, безъ медленности, повторенія, и обращаются на пользу народа... Тотъ, кто овладѣваетъ властью, долженъ опредѣлить и привести въ исполненіе сразу всѣ крутыя мѣры, которыя онъ считаетъ нужными, чтобы, избѣгая ихъ повторенія, имѣть возможность успокоить и задобрить умы послѣдующими благодѣянiями *).

На оправданіи такихъ средствъ сосредоточивается капитальный пунктъ обвиненій противъ Макиавелли. Мы согласимся, что всѣ эти мѣры жестоки. Мало того, мы даже думаемъ, что явленія и мѣры другаго рода, оправдываемыя обыкновенно тѣми же обвинителями, не лишены жосткаго характера, какъ заключеніе людей въ тюрьмы, ссылки на галеры и т. д., и потому

*) Princ. VIII.

прежде всего замѣчаемъ у обыкновенныхъ мыслителей непослѣдовательность открытаго снисхожденія въ вещамъ, болѣе имъ близкимъ, на ряду съ строгостью, въ условія, которыя были болѣе насущны въ XVI вѣкѣ. Изъ этого противорѣчія, можетъ быть, не трудно убѣдиться въ способности человѣка болѣе или менѣе холодно смотрѣть на явленія, которыя повторяются обыденно передъ его глазами, въ которыхъ онъ ежедневно вращается. Будь они даже тяжелѣе миновавшихъ, послѣднія будутъ вазаться ему болѣе страшными.

Казнь преступниковъ, политическія войны, торговая война и т. д., — все это поглощаетъ въ нашихъ глазахъ известное число жертвъ, участь которыхъ оправдывается, какъ тяжелая необходимость, то есть оправдывается изъ того же начала, изъ котораго и Макиавелли оправдываетъ предлагаемыя имъ средства. Затѣмъ, конечно, мы не вправѣ, строго судя, приписывать особенной важности тѣмъ или другимъ частнымъ видамъ, въ которыхъ всякое время оправдываетъ свои необходимыя средства, и наше вниманіе можетъ сосредоточиться только на общемъ началѣ пожертвованія частной участи общему благу, одинаково признаваемому какъ Макиавелли, такъ и его строгими судьями. Въ это начало мы считаемъ нужнымъ взглянуть теперь, для послѣдняго объясненія мыслей Макиавелли.

Оставляя въ сторонѣ частныя виды средствъ, на которыхъ останавливается Макиавелли, мы видимъ, что въ основаніи всѣхъ ихъ лежатъ два условія: насиліе и хитрость, и второй приписывается болѣе дѣйствія и успѣха самимъ мыслителемъ. Вглядываясь въ общій характеръ этихъ средствъ, не трудно замѣтить, какому родовому разряду они принадлежатъ, изъ какого порядка они взяты, и въ чемъ должны мы искать какъ источника, такъ и настоящаго объясненія подобныхъ жертвованій вообще. Приѣмъ этотъ можетъ объяснить намъ относительную жесткость совѣтовъ Макиавелли.

Насиліе и хитрость составляютъ неизбѣжную основу об-

шаго родового явленія войны. Собственно, война составляет такое же отвлеченіе, которое слагается только изъ ряда фактовъ, и двигателями этихъ-то фактовъ являются открытое насиліе и вѣроломство. Отсюда невозможность вообразить себѣ войну безъ этихъ двухъ ее опредѣляющихъ условій и, на оборотъ, невозможность допустить явленія вѣроломства и открытаго насилія, не отнѣтивъ ихъ тѣмъ же болѣе общимъ понятіемъ войны, которому они служатъ опредѣленіями. Гдѣ бы мы ни встрѣтили проявленіе насилія или хитрости, мы должны вездѣ признать условіе антагонизма и извѣстной борьбы, безъ которой ни то, ни другое не имѣло бы мѣста. А разъ признавъ войну, мы должны вмѣстѣ съ тѣмъ признать и всѣ ея послѣдствія и условія, въ числѣ которыхъ является, прежде всего, пожертвованіе одного интереса другому при посредствѣ хитрости или насилія. Жизнь, которая терпитъ и оправдываетъ внутри себя эти жертвованія, основанныя на хитрости или насиліи, должна носить въ своемъ зернѣ общее родовое условіе войны со всѣми ея послѣдствіями, двигаться взаимнымъ антагонизмомъ, и потому оправдывать его, смотрѣть болѣе или менѣе равнодушно на его послѣдствія.

Жизнь cadaго столѣтія, cadaго періода исторіи имѣла поэтому свои неизбѣжности и свой оптимизмъ, который оправдывалъ въ ея глазахъ то или другое. Затѣмъ, война могла мѣнять свой характеръ, и дѣйствительно мѣняла его. Антагонизмъ умѣрялся или прекращался въ однихъ отношеніяхъ, на однихъ пунктахъ жизни, и оставался или возросталъ въ другихъ, и нравы отвыкали отъ однихъ явленій, мирясь съ другими. Онъ сокращался съ ходомъ исторіи, — довольно явственно даже, — но исторія еще не дошла до его полнаго уничтоженія. Потому жизнь еще должна поневолѣ выработать извѣстную долю оптимизма. Крутыя мѣры и жертвованія частной участію составляютъ, такимъ образомъ, не исключительную принадлежность Макиавелли; онѣ составляютъ неиз-

бъжный продуктъ жизни, которая допускаетъ въ себя долю антагонизма. Мало того, онѣ принадлежать мыслителямъ, которыхъ никто не винить.

Что дѣлаетъ здѣсь Макиавелли, то же дѣлала, собственно говоря, и умозрительная философія. Мы по крайней мѣрѣ не знаемъ ни одной мѣры Макиавелли, которая не могла бы быть подведена подъ ученіе Гегеля о безусловно всеобщей цѣли или абсолютной идеи добра, дошедшей до самосознанія *), съ той разницей только, что у Гегеля оно давалось, какъ безусловное оправданіе текущаго порядка; у Макиавелли оно все-таки представлялось какъ зло, изъ котораго слѣдовала вмѣстѣ съ тѣмъ необходимость отрицанія, порождавшихъ его, отношеній. Поэтому такой критикъ, какъ Фридрихъ II, должень былъ бы по крайней мѣрѣ высчитать нормальное число существованій, жертвой которыхъ въ его время Пруссія выкупала ежегодно свое *statu quo* и его развитіе. При помощи такого только приема могло объясниться, что всѣ жестокости, которыя оправдывалъ Макиавелли, составляли такой же обиденный, неизбежный продуктъ жизни XVI вѣка, установленной на взаимной войнѣ и понятой въ такомъ видѣ. Жизнь не миновала тѣхъ средствъ, которыя оправдывалъ Макиавелли, и не отрѣшилась отъ того, что было названо вообще макиавеллизмомъ. Макиавеллизмъ мельчалъ, усложнялся, принималъ другія формы, становился менѣе кровавъ, но не менѣе безотраденъ, и двѣ коренныя страсти, на которыя указывалъ Макиавелли, жадность и трусость, продолжали все-таки играть свою роль. Умы отвернулись отъ кровавыхъ, крутыхъ совѣтовъ; но взгляды ближе, мы увидимъ, что это было только лицемѣріе. Жизнь все-таки пошла по той же дорогѣ, потому что эта была ея собственная дорога, понятая необыкновенно вѣрно, и въ дальнѣйшемъ не обошлась безъ крутыхъ средствъ, на которыя указывалъ Макиавелли.

*) Heg. Grundlin. d. Rechts. § 257.

Каждый историческій шагъ въ послѣдствіи былъ купленъ разливомъ человѣческой крови, страшнымъ барабаннымъ боемъ и стукомъ оружія. Упомянемъ только о главныхъ. Пришла реформація, феодализмъ былъ погранъ окончательно централизацией, и наконецъ она — буржуазіей, или парламентаризмомъ. Вотъ тѣ перевалы, черезъ которые было переброшено европейское тѣло. Цѣною какихъ жертвъ была куплена эта дорога, — пусть каждый припомнитъ самъ; на нихъ нѣтъ нужды указывать.

Чего же хотѣли собственно отъ Макиавелли? — чтобъ онъ искалъ уллучшенія жизни въ расчетѣ на общія доблести, на привязанности каждаго къ чужому спокойствію, когда все чужое цѣнилось на мѣдныхъ деньги?

Въ суммѣ ученіе это имѣло одинъ важный недостатокъ. Макиавелли вскрылъ одинъ политическій верхъ жизни и въ немъ видѣлъ всю силу общественнаго творчества. Для него въ этомъ политическомъ верху сосредоточивались всѣ нити общественнаго благосостоянія; самыя же гражданскія или социальныя отношенія были для него какой-то глухой массой, до организаціи которой онъ почти не касался и жизнь которой совершенно опредѣлялась политическимъ устройствомъ, въ которое она была вставлена. У послѣдняго политическаго вопроса Макиавелли останавливалъ свое изслѣдованіе, и потому изслѣдованіе должно было быть отчасти односторонне.

Такъ, говоря часто о жадности людей, изслѣдуя политическія отношенія Рима, онъ не касается римской семьи, рабства и даже собственно имущественныхъ отношеній. Разложеніе жизни, явившееся въ Римѣ, прежде всего въ силу крившихся ложныхъ условій въ этихъ частныхъ отношеніяхъ, вовсе ускользаетъ отъ его взгляда и онъ приписываетъ это разложеніе просто упадку нравовъ. Отсюда должны были быть односторонни тѣ средства, которыя придумывалъ Макиавелли. Заключая себя въ однихъ политическихъ отношеніяхъ, онъ поневолѣ

ограничивалъ устройство жизни одними политическими средствами, а средства эти всегда болѣе крутыя—и вотъ чѣмъ еще объясняется невольная жесткость его ученія.

Несмотря на то, его ученіе заключало въ себѣ такъ много капитальнаго, новаго, что къ великимъ успѣхамъ могла бы придти наука, примкнувъ къ его живому содержанію. Но Макиавелли, собственно говоря, не имѣлъ школы. Жизнь вообще, какъ и частный человѣкъ, нерасположена обыкновенно къ своему вѣрному изображенію, и что было высказано Макиавелли съ такой простотой и смѣлостью, мало встрѣтило сочувствія.

Что касается собственно XVI вѣка, Макиавелли вмѣстилъ въ себѣ всѣ насущныя стремленія этого вѣка; угадалъ, какъ нельзя полнѣе, его нужды и выразилъ рѣзче и послѣдовательнѣе то отрицаніе прошедшаго, тотъ обновляющій характеръ, который должно было выразить и самое это время, не всегда одинаково рѣшительно.

Сводя въ нѣсколько положеній характеристику Макиавелли, мы видимъ въ немъ самый рѣшительный ударъ всему схоластическому порядку, какъ въ политикѣ, такъ и въ правѣ. Мы видимъ прежде всего открытую вражду противъ папской власти, доходящую до предсказанія реформации, которая не замедлила совершиться, и вражду противъ всякой тирании, — то есть, совершенное отрицаніе политическаго фатализма, на которомъ была построена схоластическая культура, и на мѣсто котораго, взамѣнъ всѣхъ мистическихъ цѣлей, поставлено народное благосостояніе, какъ одна цѣль и средоточіе всего общественнаго порядка: *salus populi suprema lex esto*.

Въ основу такого благосостоянія положены съ политической стороны (которой, впрочемъ, единственно и касался Макиавелли) независимость и единство національной жизни и устройство народнаго управленія на началахъ автономическихъ. И въ томъ и въ другомъ случаѣ были одинаково вѣрно поняты условія, чрезъ которыя должна была пройти послѣдующая жизнь.

Наконецъ, въ корнѣхъ всего ученія лежитъ основное воззрѣнiе на природу права вообще, наносящее самый глубокий ударъ схоластикѣ. Это—доказанная недостаточность всякаго безусловнаго этическаго дуализма, какъ основы права, и признанiе дуализма условнаго, опредѣляемаго, по своему содержанiю, совершенно практическимъ отношенiемъ фактовъ къ идеѣ народнаго благосостоянiя. Отсюда выходитъ само собой совершенное отдѣленiе права отъ нравственности (т. е. отвлеченной, какъ ее понимали схоластики) и отрицанiе права, какъ вѣчнаго естественнаго политическаго кодекса, написаннаго въ сердцахъ, по которому будто бы могъ быть рѣшенъ юридическiй порядокъ жизни; а выражена, напротивъ, необходимость искать частныхъ правилъ этого кодекса юридическаго или общественнаго добра въ положительныхъ жизненныхъ данныхъ. Это отрицанiе, какъ мы увидимъ, отразитъ и все время, не исключая ни Кальвина, ни Лютера.

Таковъ былъ Макиавелли; онъ умеръ въ 1527 году. На его глазахъ прошла, слѣдовательно, реформація во всемъ ея разгарѣ; другiя народности шли къ національному единству, на которое онъ указывалъ; тамъ феодализмъ долженъ былъ отступить съ своимъ началомъ раздѣленiя. Но Италия осталась глуха къ призыву своего учителя. Вся Европа должна была воспользоваться болѣе или менѣе тѣмъ, чего желалъ Макиавелли. Одна Италия сохранила неизменно власть папы и народную разорванность.

ГЛАВА IV.

Макиавелли дополняется Т. Моромъ.—Внѣшняя форма Утопій.—Вопросъ о смертной казни и социальныя раны Англіи, за обѣдомъ у епископа Кентерберійскаго.—Сатира надъ социальными типами времени.—Шутъ и капудинъ. — Военный совѣтъ французскаго короля. — Коренная мысль Т. Мора; общее возраженіе противъ нея. — Устройство острова Утопій. — Это устройство не идеаль, какъ его принимаютъ, а только сатира.—Слабья стороны Утопій.—Близость новаго движенія идеализма и реформаціи.

Тамъ, гдѣ останавливается сфера изслѣдованія Макиавелли, начинается область Томаса Мора. Онъ такой же практикъ, по своему положенію и дѣятельности. Канцлеръ короля Генриха VIII, любимецъ народа, отставленный за смѣлую защиту супружескихъ правъ королевы, кончающій жизнь на плахѣ за стойкость своихъ религиозныхъ убѣжденій, не желая признать короля главою церкви, онъ такой же реалистъ, какъ писатель.

Но его реализмъ углубленъ въ другую сферу, чѣмъ у Макиавелли; политическія отношенія Англіи далеко не итальянскія. Она не терпитъ того народнаго раздѣленія, которое раздѣдаетъ Италію, и потому вопросъ народнаго единства, который всю жизнь стоитъ неотразимой задачей передъ Макиавелли—для Томаса Мора не можетъ составлять насущнаго вопроса. Среди Англіи нѣтъ римскаго двора, который, какъ ракъ, сушитъ лучшія народныя силы, и потому Томасъ Моръ не можетъ питать къ нему той ненависти, какъ Макиавелли. Передъ нимъ

лежать другія раны, не политическія, болѣе глубокія, до которыхъ не касался Макіавелли, — раны гражданскія; и вотъ сфера, въ которой борется его мышленіе. Томась Моръ посланъ Генрихомъ VIII во Фландрію для переговоровъ, въ качествѣ уполномоченнаго, по какимъ-то дипломатическимъ недоразумѣніямъ. Пользуясь случаемъ, онъ дѣлаетъ поѣздку въ Антверпенъ и здѣсь встрѣчается съ путешественникомъ, личность котораго приковываетъ съ перваго взгляда его вниманіе. Онъ знакомится съ нимъ чрезъ одного француза, по имени Пьера. Интересный незнакомецъ оказывается португалецъ родомъ, однимъ изъ спутниковъ Америго Веспуччи и посвятившій всю жизнь на путешествія. Онъ былъ однимъ изъ 24-хъ человекъ, которыхъ Америго оставилъ въ Новой Кастиліи; отсюда объѣхалъ онъ новыя, до тѣхъ поръ невѣдомыя страны и послѣ долгихъ трудовъ возвратился счастливо, сверхъ всякаго ожиданія, на родину. Изъ такихъ странствованій онъ вывезъ близкое знаніе и глубокую критику обычаевъ и законодательствъ различныхъ народовъ какъ Новаго, такъ и Стараго свѣта.

Въ тотъ же день, у себя въ саду Томась Моръ бесѣдуетъ съ своимъ новымъ знакомымъ, при чемъ Рафаэль, — такъ звали замѣчательнаго португальца, — сперва ведетъ разговоръ о самыхъ коренныхъ и глубокихъ общественныхъ недостаткахъ Англіи и Франціи, потомъ представляетъ имъ въ примѣръ описаніе общественного устройства на островѣ Утопіи, гдѣ онъ пробылъ пять лѣтъ.

Таковъ пріемъ, которымъ Томась Моръ излагаетъ свою философію общественной жизни. Эта форма драматическая. И французъ Пьеръ, и португалецъ Рафаэль, и Утопія, и вся сцена, — все это фиктивно и вымышлено. Крайне реальны только тѣ раны, которыя вскрываетъ. Томась Моръ, заставляя говорить за себя этого португальца, реальна сатира, исполненная глубокаго состраданія къ человѣку, да то лучшее, которое хотѣлъ бы онъ поставить въ примѣръ несовершенству евро-

нейскаго устройства. Но и самый вымысел, роль подставныхъ лицъ, и вся драматическая форма здѣсь являются также не даромъ, не какъ простая прихоть писателя, — они имѣютъ очень явственный и опредѣленный умыселъ показать со всей яркостью то разстояніе, которое раздѣляетъ политическіе взгляды Томаса Мора отъ взглядовъ, общихъ его современникамъ. Самый рассказъ, влагаемый Моромъ португальскому путешественнику, ведется послѣднимъ также драматическими сценами и картинами, въ которыхъ выводятся на сцену социальныя типы времени, съ ихъ неблагонадежнымъ характеромъ и угловатыми мнѣніями, и тутъ же предаются осмѣянію.

Вся книга Утопіи состоитъ изъ этой бесѣды, которая дѣлится на двѣ половины. До обѣда длится первая половина ея, въ которой португалецъ излагаетъ свою критику современнаго социальнаго порядка; во второй половинѣ представляется самое описаніе острова Утопіи.

Уже поводъ, по которому Томасъ Моръ заставляетъ начать весь рассказъ, вызываетъ разностороннюю сатиру, которая не можетъ обрушиться на одни только теоретическіе вопросы или общественныя установленія, а должна коснуться характера самыхъ лицъ и типовъ, связанныхъ съ этими установленіями, т. е. полной картины общества, съ которыми должны были бы бороться здоровыя общественныя понятія не въ одной теоріи, а на самой практикѣ.

Съ первыхъ словъ разговора завязывается вопросъ о томъ, въ какомъ отношеніи находятся господствовавшія тогда политическія понятія къ истинѣ и на сколько возможно для отдѣльнаго человѣка благотворное вліяніе на дѣла политики. Отсюда начинается Томасъ Моръ, устами своего рассказчика, ѣдку по лемику. Онъ хочетъ доказать, что сдѣлать подобную попытку и принять на себя подобную роль, значило бы только пожертвовать своей свободой для того, чтобы открыть широкое поле чсетолубію и жадности другихъ. Здравныя понятія такъ далеки

отъ всего окружающаго, что никакое вліяніе не будетъ возможно на самомъ дѣлѣ. Политика гораздо болѣе склонна къ войнѣ и завоеваніямъ, чѣмъ къ миру, избытку и благосостоянію; а Томасъ Моръ не имѣетъ никакого влеченія къ войнѣ. Если предположить теперь, что въ совѣтѣ людей завистливыхъ, ничтожныхъ и заносчивыхъ встанетъ одинъ изъ присутствующихъ и выскажетъ мнѣніе, противное общему взгляду, то послѣдствія угадать не трудно. Одни слишкомъ ограничены и неопытны, чтобы понять дѣльный совѣтъ; другіе слишкомъ самолюбивы: „такова уже воля природы“, говоритъ Томасъ Моръ, „она врѣзала намъ это прекрасное чувство, по которому всякій отдастъ превосходство своимъ собственнымъ произведеніямъ передъ чужими. Такъ ворона ласкаетъ крыломъ своимъ своихъ дѣтей“.

„Порядокъ вещей, которому мы слѣдуемъ, былъ установленъ нашими отцами, и дай Богъ, чтобы мы были также умны и просвѣщенны, какъ они, вотъ общее выраженіе, которое придется услышать за недостаткомъ другихъ.“

Для доказательства такихъ общихъ соображеній Томасъ Моръ ставитъ передъ лицомъ современнаго общества и компетентныхъ судей частный вопросъ о вліяніи уголовныхъ средствъ на народное благосостояніе.

Ни одна послѣдующая отвлеченная уголовная теорія не взглянула на вопросъ этотъ съ той точки, съ которой на него взглянулъ Томасъ Моръ со всею смѣлостію и глубиной. Наука уголовного права, дѣлая номенклатуру безусловныхъ теорій наказанія, не дѣлала чести Морю—придавать его взгляду какое либо значеніе, хотя взглядъ этотъ единственный здоровый взглядъ, изъ котораго возможна въ настоящее время обработка уголовного права. Эта ширина и глубина возрѣнія на уголовный вопросъ даетъ возможность Томасу Морю коснуться при этомъ частномъ случаѣ весьма разнообразныхъ сторонъ современной ему жизни.

Современное общество, по его мнѣнію, хвалить строгую и быструю жѣру смертной казни противъ воровъ, удивляясь, что такъ много еще встрѣчается разбойниковъ, несмотря на множество казней.

Для Мора эти удивленія бессмысленны. Не говоря о томъ, что смертная казнь несправедлива сама по себѣ, она также вредна для общественнаго блага. Она не только жестока и несообразна съ самымъ преступленіемъ, говоритъ онъ; но и никогда не будетъ служить средствомъ для обузданія воли преступника: простое воровство слишкомъ ничтожно, чтобы его наказывать смертію; а никакая угроза, какъ бы она строга ни была, не въ состояніи удержать несчастнаго, который, для того, чтобы существовать, не имѣетъ другаго средства, кромѣ кражи.

„Вездѣ увеличиваютъ казни, утончаютъ пытки, изобрѣтаютъ мученія, одно названіе которыхъ приводитъ въ содроганіе, а между тѣмъ нигдѣ не думаютъ о присваніи дѣйствительнаго средства для того, чтобы спасти человѣка неимущаго отъ отчаянія бѣдности, отъ безчестія преступленія и ужасовъ плахи. Говорятъ — „имъ эти средства открыты: искусства, ремесла и земледѣліе, кажется, могли бы считаться неистощимыми источниками въ этомъ отношеніи. Пусть они ищутъ въ трудѣ защиты отъ бѣдности. Но дѣло въ томъ, что эти бродяги и тунеадцы не хотятъ ничего дѣлать.“

„Пусть не думаютъ сказать что нибудь серьезное такими возраженіями. Прежде всего изъ числа тѣхъ, которыхъ хотятъ заставить работать, нужно исключить солдатъ, которые возвращаются безрукими и безногими калѣками и которые, слѣдовательно, лишены возможности трудиться“. Но причины, порождающія преступленія лежатъ глубже. „Не угодно ли вамъ обратить вниманіе на эту массу феодальныхъ господъ, которые, подобно проказѣ живутъ и утучняются чужимъ трудомъ.“ (Просимъ не забывать читателя, что мы въ XVI вѣкѣ.) „Вы ду-

знаете, что они заботятся о воздѣлываніи своихъ земель? Нѣтъ; среди нѣги и чувственности эти первенцы счастія думаютъ только о раззореніи своихъ земледѣльцевъ и о доведеніи ихъ до нищенства, для того, чтобы устроить свои доходы и удовлетворить своимъ вздорнымъ тратамъ. Но это еще не главное. Сосчитайте массу наемниковъ, которые ихъ окружаютъ. Во всемъ похожая на своихъ господъ, эта дворянѣ живетъ въ постыдной праздности, не зная никакихъ ремеселъ. Если лавей дѣлается болень — его прогоняютъ, потому что, замѣтите, эти господа болѣе склонны содержать здоровыхъ лѣвтяевъ, чѣмъ кормить бѣдныхъ безсильныхъ. Умираетъ господинъ, и дворянѣ очень часто распускаютъ наслѣдники. Что ей остается дѣлать въ этихъ случаяхъ, какъ не спѣшить приняться за воровство, если она не хочетъ также поспѣшно умереть съ голоду; ибо дороги къ труду у нея быть не можетъ. Сельскіе жители знаютъ, что она привыкла хорошо ѣсть и пить безъ труда и не съумѣетъ владѣть серпомъ или плугомъ за бѣдное вознагражденіе“.

„Покрытые лохмотьями, блѣдные, истощенные, протоптавъ извѣстное время мостовую, эти люди носятъ ливрею нищеты и терпятъ тогда одинаковый отказъ у богатыхъ и бѣдныхъ. Скажутъ—эти люди во время войны составляютъ избранную часть нашего войска. Но въ такомъ случаѣ лучше уже сказать, что для успѣха войны слѣдовало бы поддерживать значительныя шайки воровъ, ибо дѣйствительно воры не дурные солдаты, и послѣдніе не дурные воры, — такъ много связи и родства въ Англіи между этими двумя положеніями. Впрочемъ это зло также общее. Франція, на примѣръ, во время мира покрыта постоянно войсками, очень тягостными для государства.“

„Недовѣряя новобранцамъ, она хочетъ имѣть солдатъ, привыкшихъ въ войнѣ, и потому должна вести постоянно войну, для того, чтобы имѣть солдатъ опытныхъ“.

„Но сколько разъ сама Франція уже была жертвой этой

самой предосторожности; сколько разъ эти люди крови и грабежа раздирали ея собственныя внутренности. Доказательствомъ ложности таковой системы служить, что французскія войска, выученныя, не всегда одерживали верхъ надъ англійскими и что дворян, окружающая англійскихъ господъ, не можетъ устоять противъ ремесленниковъ и земледѣльцовъ. Замѣтимъ еще, что сюда собирается самый рослый и сильный народъ и что страна лишается поэтому лучшихъ руекъ“.

Но и дворян тунеядцевъ не послѣднее зло. „Англійскіе господа и духовенство округляютъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе свои поля, думая вѣрно, что еще мало земли пропадаетъ въ государствѣ подъ прудами и парками, и по этому случаю, лишая земледѣльца послѣдняго убѣжища, обращаютъ въ пустыни лучшіе города и деревни. Куда дѣваются этимъ семействамъ и цѣлымъ поселеніямъ, у которыхъ отняты ихъ дома и поля, или которые всевозможными стѣсненіями были вынуждены продать ихъ подъ господскія роши и пастбища. Для охраненія послѣднихъ нужно, конечно, меньше руекъ, чѣмъ прежде для ихъ воздѣлыванія подъ поля; итакъ этимъ людямъ остается одно—грабить и послѣ грабежа умереть на виселицѣ. Такова ихъ дилемма. Они даже не могутъ просить милостыни, потому что это также преслѣдуется закономъ. Итакъ для нихъ небо становится желѣзомъ и земля мѣдью“.

„Отъ этого уменьшенія назначенныхъ земледѣлю цѣлей происходитъ дороговизна хлѣба и другихъ предметовъ первой потребности. Система мануфактурныхъ и ремесленныхъ привилегій миновала, монополіи уничтожены, но слѣдомъ за ними развилось не менѣе страшное зло олигополіи.“

Такъ какъ овцезоды принадлежатъ къ зажиточному классу, то ничто не вынуждаетъ ихъ къ продажѣ шерсти по предлагаемой цѣнѣ; они устроили между собою стачки, въ которыхъ назначаютъ произвольную цѣну, ниже которой не продаютъ. Съ сокращеніемъ земледѣлія сокращается развитіе круп-

наго скотоводства. Тѣ же капиталисты скупаютъ скотъ въ другихъ провинціяхъ по низкой цѣнѣ, который откармливаютъ и потомъ продаютъ на вѣсъ золота. Объ этомъ пока никто не думаетъ серьезно. Но разъ уменьшится такимъ путемъ до известной степени количество скота и истощится порода, тогда изобиліе смѣнится неизбѣжно недостаткомъ и общимъ голодомъ. Такъ ничтожная часть людей, движимая жаждой незаконнаго приобрѣтенія, обращаетъ къ погибели Англїи производство, выгоды котораго, казалось, обезпечивали навсегда ея довольство.“

„Въ довершеніе такихъ несчастныхъ сцѣленій, являются необходимостью роскошь, которая распространяется въ Англїи съ небывалой силой. Она смѣшала всѣ состоянія и уничтожила прежнія отличія; она одѣваетъ холопство въ дорогія ливреи, одинаково развращаетъ купцовъ и работниковъ и самихъ земледѣльцевъ, заставляетъ ихъ стыдиться бывалой умѣренности и простоты ихъ прежняго платья и пищи. Въ какомъ вѣкѣ видано было столько притоновъ разврата и невоздержности, такое распространеніе азартныхъ игръ всякаго названія? Нужно изгнать изъ городовъ эти элементы: тамъ находится настоящій притонъ воровства и разбойничества, которое разоряетъ страну. Пусть заставятъ тѣхъ, которые раззорили города и отняли поля у земледѣльцевъ для своихъ прихотей, выстроить вновь эти города и возвратить земли. Пусть перестанутъ терпѣть хотя одного празднаго человѣка, отдадутъ землю въ руки, которыхъ она проситъ, а мануфактурамъ дадутъ все развитіе, которое имъ доступно, чтобъ они могли служить убѣжищемъ людямъ, которые не имѣютъ работы; пусть стѣснятъ при этомъ строгими законами корысть капиталистовъ и монополїи и сдержатъ страхомъ наказанія жадность этихъ пиявокъ государства, этихъ кровавадныхъ созданій, которыхъ наглое довольство живетъ на счетъ общаго спокойствія. Принять такія мѣры, значитъ уничтожить зло въ самомъ его зародышѣ; иначе весь настоящій англійскій порядокъ съ его уголовными мѣрами имѣетъ

видъ системы, которая воспитываетъ злодѣевъ для того, чтобы имѣть послѣ удовольствіе ихъ вѣшать. Вѣшать же людей за простое воровство наравнѣ съ разбоемъ и другими болѣе тяжкими преступленіями (не говоря уже о томъ, что всякая смертная казнь противна заповѣди, запрещающей вообще убійство) значитъ признавать всѣ нравственныя положенія въ той только мѣрѣ, насколько они согласны съ нашими капризами; это бессмысленно и вредно въ томъ отношеніи, что влагаетъ ворами прямой расчетъ не ограничиваться однимъ простымъ воровствомъ, а доводить его до убійства, чтобы избавиться отъ перваго обвинителя, такъ-какъ въ томъ и другомъ случаѣ ихъ ждетъ одна и та же смертная казнь. Такъ, поэтому, думая избавиться отъ воровъ, заключаетъ Т. Моръ, вы только плодите разбойниковъ.“

Вмѣсто смертной казни, Томасъ Моръ предлагаетъ относительно преступниковъ принудительныя публичныя работы съ исправительной цѣлью и заставляетъ по этому случаю своего путешественника рассказывать примѣръ порядка, который ему будто бы случилось видѣть.

Постарайтесь теперь дать такимъ взглядамъ мѣсто въ драмѣ жизни. Представьте себѣ, что они выражены не на страницахъ мертвой книги, а живымъ языкомъ передъ самой образованной частью общества XVI вѣка. Постарайтесь представить себѣ это общество, на сколько возможно, живо, со всѣми его типами и ихъ обстановкой. Постарайтесь вообразить себя, напримѣръ, на обѣдѣ у кардинала Джона Мортонa, епископа кентерберійскаго и государственнаго канцлера, гдѣ можно встрѣтить весь образованный конклавъ современной жизни. Здѣсь присутствуетъ шутъ, — этотъ неизбѣжный членъ средневѣковаго дома, — прелать и легистъ, умѣющій, по выраженію одного современнаго писателя, насчитать 600 законовъ, не перевода дыханія, и масса гостей, колышущая свои убѣжденія, согласно съ капризомъ кардинала, который председа-

тельствуешь. Представьте себѣ теперь, какого мнѣнія долженъ быть легистъ о наказаніяхъ. Отъ него перваго должно было ждать того восхищенія казнями, въ отвѣтъ которому высказана вся критика Томаса Мора.

Представьте себѣ послѣдствія, которыя должна была вызвать такая рѣчь среди подобной сцены, нарисуйте себѣ эти послѣдствія какъ можно ярче, и вы получите приблизительное понятіе о той сатирѣ, которую Томасъ Моръ обрушаетъ на современное общество. Ставя свою рѣчь передъ лицомъ такого собранія, онъ не забываетъ, кажется, ни одного изъ присутствующихъ. Даже самый кардиналъ, котораго потѣшаетъ шутъ насчетъ его капуцина, не совершенно избавленъ отъ нея.

„Выслушавъ, рассказъ, — говоритъ Томасъ Моръ, — легистъ приготовился возражать, прибѣгая къ избитому приему. „Нельзя не согласиться“, началъ онъ: „что вы очень хорошо говорили о предметѣ, который, однако, какъ видно, вы болѣе знаете по наслышкѣ; я повторю, поэтому, въ подробности всѣ ваши разсужденія, я изложу затѣмъ тѣ заблужденія, въ которыя вы впали. Я буду опровергать потомъ всѣ ваши положенія... — „Ради Бога, избавьте насъ“, остановилъ его кардиналъ: „по началу видно, что вы не скоро кончите“.

Мысль объ исправительныхъ наказаніяхъ возбудила всеобщія усмѣшки. Но кардиналъ объявилъ себя въ ея пользу — и все вдругъ измѣнилось: рѣчь вдругъ была осыпана похвалами.

Одинъ пунктъ въ результатѣ вызвалъ сомнѣніе: что остается дѣлать еѣ увѣчными, которые не могутъ работать? И этимъ случаемъ пользуется Томасъ Моръ, чтобы предать насмѣшкѣ еще одно лицо.

„Я нашелъ имъ мѣсто“, отозвался шутъ, сидѣвшій тутъ же: „они должны быть отданы на попеченіе монастырей и духовенства“.

Кардиналъ усмѣхнулся; всѣ приняли предложеніе очень серьезно.

Тогда докторъ теологіи, который до сихъ поръ сохранялъ глубокое молчаніе, рѣшился заговорить:

„Вы не избавитесь отъ нищихъ раньше, чѣмъ не подумаете объ устройствѣ нашего благосостоянія,“ сказалъ онъ, „насъ нищихъ по ремеслу.“ — „О васъ подумали уже,“ отвѣтили шутъ. „Признавая необходимымъ заставить трудиться бродягъ, кардиналъ васъ прежде всего имѣлъ въ виду, ибо вы, безъ сомнѣнія, величайшіе бродяги, какіе только существуютъ на свѣтѣ.“ Докторъ сперва онѣмѣлъ отъ такого замѣчанія, но выйдя изъ летаргіи, опрокинулся потокомъ брани и проклятій на скомороха. Тотъ напомнилъ ему текстъ о воздержаніи. Капуцинь увѣрялъ, что онъ чуждъ гнѣва, что онъ раздражается, по призмѣру Псалмопѣвца, изъ рвенія къ папской церкви.

Конецъ обѣда прервалъ эту грубую сцену.

„Судите теперь, по представленнымъ примѣрамъ, какое дѣйствіе можетъ имѣть добрый совѣтъ на людей такого разбора,“ — заставляетъ Томасъ Моръ сказать, въ заключеніе, своего путешественника.

Съ своей стороны онъ благодарить рассказчика. „Вы такъ вѣрно напомнили мнѣ Англию, что мнѣ показалось, что я нахожусь на родинѣ у моего семейнаго очага.“

Такимъ же порядкомъ заставляетъ Томасъ Моръ своего рассказчика чертить картину совѣта у французскаго короля, гдѣ его совѣтники и приближенные утверждаютъ его въ необходимости завоеваній и истощенія народа налогами до крайней бѣдности для того, чтобы вѣрнѣе обезпечить себѣ покорность этого народа и тѣмъ утвердить свое могущество. Въ заключеніе всѣхъ мнѣній, предлагается наконецъ заставить судей во всѣхъ тяжбныхъ случаяхъ между королевскою казною и частными лицами — рѣшать въ пользу первой, на томъ основаніи, что король нуждается въ большихъ тратахъ для приѣма иностранныхъ пословъ.

Со всей силой благороднаго гнѣва обращается Томасъ Моръ

противъ началъ такой политики и ставить благосостояніе и довольство страны первой цѣлью всякой системы. Въ виду этой цѣли, онъ договаривается наконецъ до своей коренной мысли, которая составляетъ непримиримый пунктъ его раздѣленія съ современнымъ порядкомъ и на которую не согласится ни въ какомъ случаѣ, какъ онъ думаетъ, его время.

„Я вамъ говорю откровенно,“ говоритъ онъ устами своего рассказчика: „никогда, никогда не будетъ возможно дать народу управленіе справедливое и благотворное, тамъ, гдѣ деньги двигатели всѣхъ поступковъ, а состояніе—мѣрило добродѣтели и почета; это несчастное право моего и твоего — источникъ всего. Отсюда — неравенство, процессы и тяжбы, убійства, войны и опустошенія. Какъ дикіе звѣри, люди думаютъ только о томъ, чтобы вырывать другъ у друга изъ рукъ имущества. Хитрость и плутовство отдають наконецъ все въ руки немногихъ счастливыхъ и дерзкихъ, которые расточаютъ лучшія богатства земли. Остальнымъ остается затѣмъ бѣдность и голодъ, который ихъ истомляетъ, и презрѣніе, которое ихъ добиваетъ. Да, повторяю, нѣтъ надежды на благосостояніе народа, пока онъ сохранитъ такія условія. Большая часть лучшихъ его людей будетъ осуждена добывать со слезами и болью самую жалкую часть изъ того, что она посѣветъ съ большимъ трудомъ.“

„Я не говорю о немедленномъ уничтоженіи такого порядка; на первый разъ можно ограничить извѣстной нормой количество земли и другаго имущества, которымъ каждый можетъ владѣть, уничтоживъ при этомъ всѣ привилегіи, фидеикомиссы и продажность должностей. Все это на первый разъ можетъ облегчить зло, но не нужно забывать, во всякомъ случаѣ, что мѣры эти будутъ только паллятивныя, и что на нихъ нельзя окончить реформы.“

Въ отвѣтъ на эти слова, Томасъ Моръ самъ произноситъ возраженіе, которое сдѣлалось столь общимъ въ послѣдствіи: „это захочетъ работать, если надежда приобрѣтенія не будетъ болѣе

возбуждать къ труду и если всякій будетъ увѣренъ въ своемъ обеспеченіи?“ и, въ опроверженіе такого возраженія, рассказываетъ порядокъ общественнаго устройства на островѣ Утопіи:

Главныя черты Утопіи слѣдующія. Въ основаніе устройства принимается бракъ въ формѣ моногаміи, разрушаемый только въ крайнихъ случаяхъ, и нарушеніе чистоты котораго подвергнуто строжайшимъ наказаніямъ — обращенію въ рабство и смертной казни, при повтореніи. Для обезпеченія же супружескаго счастья, принимается, во-первыхъ, строгое наблюденіе за нравственностію молодыхъ людей до брака, возрастъ котораго опредѣляется для мужчинъ въ 22 года и женщинъ въ 18 лѣтъ, и предварительный торжественный осмотръ другъ-друга со стороны жениха и невѣсты. Но супружескія пары не составляютъ отдѣльнаго дома: отъ 10 до 16 такихъ паръ, вмѣстѣ съ своими дѣтьми, соединяются въ семействѣ, въ главѣ котораго стоятъ отецъ и мать дома. Когда число членовъ переходитъ за maximum, излишніе члены распредѣляются между другими семействами того же или другаго города, или наконецъ высылаются въ новыя колоніи. Тридцать такихъ семействъ составляютъ новый союзъ, подъ началомъ главы, избираемаго ежегодно, для общественнаго производства работъ, общественнаго стола и удовольствій. Каждое такое общество имѣетъ свои общія столовыя, залы воспитанія дѣтей и свои сады, примыкающіе къ задней части домовъ. Жены находятся въ строгомъ повиновеніи мужьямъ и дѣти родителямъ. Дѣти даже не пользуются мѣстами за общимъ столомъ и во время обѣда стоятъ сзади родителей, которые даютъ имъ подачку съ своихъ тарелокъ, составляющую всю ихъ пищу. При столовыхъ устроены покои, на случай внезапной болѣзни или разрѣшенія беременныхъ женщинъ.

Нѣсколько такихъ обществъ составляютъ городъ, но при этомъ наблюдается, чтобы общее число жителей города не превышало 6,000 человекъ.

Городъ имѣетъ свой общественный рынокъ, въ которомъ отдѣльныя общества продовольствуются всѣмъ необходимымъ безвозмездно, свои магазины, больницы и дома призрѣнія. Всего въ Утопіи 54 города, которые и составляютъ государство.

Управленіе устроено слѣдующимъ образомъ. Надъ каждымъ 30 семействами начальствуетъ филархъ; надъ десятью филархами протопилархъ. Всѣ филархи вмѣстѣ избираютъ одного начальника для каждаго города на всю жизнь. Для обсужденія общихъ дѣлъ республики, избираются ежегодно по три челоуѣка отъ каждаго города, которые собираются обыкновенно въ главномъ городѣ и составляютъ сенатъ.

Разговоръ о дѣлахъ законодательства внѣ официальныхъ собраній запрещенъ подь смертной казнію. Духовенство избирается тоже гражданами, какъ и власти. Въ Утопіи царствуетъ вѣротерпимость.

Въ отношеніи экономическаго устройства, главная забота утопистовъ въ томъ, чтобы никто не сидѣлъ праздно. Поэтому правильная организація труда является для нихъ предметомъ первой важности. Отъ матеріальнаго труда освобождены только назначенные по выбору для занятій умственныхъ; всѣ остальные граждане обязаны физическимъ трудомъ.

Но размѣръ этого труда не превышаетъ 6 часовъ въ сутки. Самый же грубый трудъ несутъ рабы и отчасти дѣти, которые прислуживаютъ за столомъ наравнѣ съ рабами. Никакихъ различій сословныхъ по промысламъ не существуетъ. Поля обрабатываются городскими жителями, которые выеылаютъ ежегодно на этотъ предметъ необходимое число членовъ изъ каждаго семейства; лица эти обязаны проработать въ поляхъ въ теченіе двухъ лѣтъ, и потомъ могутъ вернуться въ города, или или остаться долѣе по произволу; ремесленныя работы распределяются въ городахъ старшинами семействъ. Все производи-

ное считается общимъ достояніемъ, одинъ городъ помогаетъ другому и только общій избытокъ продается на сторону.

Частная собственность, такимъ образомъ, не существуетъ; деньги также не имѣютъ внутренняго обращенія, и благородные металлы обращены на самое презрительное употребленіе, между прочимъ на веденіе войны, которой утописты избѣгаютъ всеми средствами и для предупрежденія ея прибѣгаютъ къ уточненному макиавеллизму, оцѣняя голову непріязненнаго короля и его приближенныхъ и давая у себя убѣжище ихъ убійцамъ.

Наконецъ утописты не заключаютъ никогда дипломатическихъ договоровъ, потому, говоритъ Т. Моръ, что народы имъ сосѣдственные, въ противность европейцамъ, не имѣютъ никакого понятія о святости такихъ договоровъ, умышленно переполняютъ ихъ двусмысленными условіями и заключая — уже думаютъ объ ихъ нарушеніи, “ — явная насмѣшка надъ дипломатическими правами Европы XVI вѣка.

Таково устройство Утопіи. Мы не думаемъ входить здѣсь въ подробное обсужденіе его. Но не можемъ не замѣтить одного важнаго обстоятельства, которое показываетъ, что Т. Моръ обыкновенно былъ также ложно понимаемъ, какъ и Макиавелли. Въ Утопіи видятъ планъ идеальнаго устройства, и это несправедливо. Самъ Томасъ Моръ, выслушавъ рассказъ о ней, нашелъ, что законы этого острова заключаютъ въ себѣ безчисленное множество недѣльнаго, особенно въ отношеніи способа вести войну, и религиозныхъ обрядовъ утопистовъ. Мы не думаемъ, чтобы онъ на самомъ дѣлѣ оправдывалъ все подробности общественнаго устройства счастливаго острова. Произнося самъ последнее рѣшеніе надъ нимъ, онъ говоритъ, что не оправдывая его въ цѣломъ, онъ сознаетъ за Утопіей много здравыхъ установленій, принятіе которыхъ можетъ быть его лучшимъ желаніемъ, но на осуществленіе которыхъ онъ не рѣшается рассчитывать.

И эти слова мы считаемъ должнымъ принять за его настоящее сужденіе о своемъ собственномъ твореніи. Онъ болѣе подымалъ и ставилъ вопросы, чѣмъ рѣшалъ ихъ. Представить полную реальную картину жизни на другихъ началахъ онъ самъ врядъ ли признавалъ возможнымъ, и потому не придавалъ серьезнаго смысла отдѣльнымъ частностямъ нравовъ Утопіи. Въ этихъ частностяхъ видна болѣею частію преднамѣренная сатира европейскаго порядка, и за такую-то сатиру мы принимаемъ самую Утопію, а вовсе не за серьезное построеніе. Въ этомъ отношеніи страницы объ употребленіи, которое дѣлаютъ утописты изъ благородныхъ металловъ, предназначая ихъ на ночныя вазы и цѣпи преступникамъ и рабамъ, приемъ пословъ чужаго племени, облаченныхъ въ блестящія одежды, которыхъ поэтому дѣти принимаютъ за колодниковъ, а взрослые за шутовъ — верхъ сарказма, какъ и все послѣдствія, вытекающія изъ коренной особенности, на которой устроена Утопія, какъ-то: отсутствіе тажбъ и кляузъ въ европейскомъ видѣ, праздныхъ людей, европейскаго различія состояній въ экономическомъ смыслѣ. Мы видимъ въ самой Утопіи продолженіе той же критики, того же отрицательнаго отношенія къ предмету, которымъ отмѣчена первая часть разсказа, а не дѣйствительное созданіе идеала. Но и въ этомъ отношеніи Утопія Т. Мора небезуворизненна для нашего времени. Самъ Т. Моръ, мѣстами, какъ будто не рѣшается проводить до конца свои контрасты и даетъ болѣе отгадывать, чѣмъ высказываетъ. Онъ допускаетъ наконецъ въ свою Утопію рабство. Весь идеалъ носить въ себѣ, такимъ образомъ, коренную ошибку, противорѣчіе, которое служитъ главнымъ препятствіемъ его вѣроятности, и подъ вліяніемъ котораго онъ долженъ разрушиться самъ.

Но оставляя въ сторонѣ такія частности, обращаясь къ общему характеру Утопіи, нельзя не отдать справедливости Томасу Морю. Онъ первый отвергъ довѣріе къ такъ называемымъ чарательнымъ мѣрамъ, указалъ ихъ настоящую цѣну и отно-

женіе въ ряду общественныхъ явленій; первый указывалъ на-стоящій путь къ плодотворному анализу жизни, недостаточность ѳднихъ политическихъ условій, и необходимость доходить въ этомъ анализѣ до самыхъ коренныхъ гражданскихъ или эконо-мическихъ частей жизни. Эту экономическую основу онъ ставилъ первый на видное мѣсто, указывая зависимость полити-ческаго порядка отъ нея, и открывалъ въ этомъ отношеніи одинъ изъ реальныхъ законовъ общественнаго порядка. Эту экономическую основу онъ велъ далѣе, кладя ее въ основаніе нравственности Утопистовъ, въ тѣсномъ смыслѣ. Отсюда все, что говоритъ Т. Моръ о роскоши и фиктивныхъ наслажде-ніяхъ, также можно здраваго основанія и доказано тѣми же экономическими понятіями выгоды и невыгоды, примененными въ анализу психическихъ ощущеній.

Послѣ этого понятно, какое отношеніе существуетъ между Макиавелли и Т. Моромъ. Одинъ какъ бы дополняетъ другаго, и оба работаютъ надъ однимъ и тѣмъ же, чтобы дать поло-жительное содержаніе естественному праву, вмѣсто прежней его безусловной пустоты, понять его, какъ продуктъ реальныхъ условій, который долженъ быть добытъ изъ этихъ условій, а не предписанъ или угаданъ. Въ суммѣ—оба пересоздаютъ всю природу права.

Вмѣсто цѣли отвлеченной правды или добра, они ставятъ цѣль реальнаго благосостоянія. Вмѣсто такого же безуслов-наго дуализма, ведущаго къ отвлеченной схоластической цѣли, они ставятъ дуализмъ условный, рассчитанный и дѣйствитель-ный. Вмѣсто того, чтобы предоставлять самое осуществленіе естественнаго закона на произволъ случая, они хотятъ сдѣлать его легкимъ и неизбѣжнымъ. Оба видятъ при этомъ въ жизни картину общаго антагонизма. Парализировать такіа условія Макиавелли стремится средствами политическими, Томасъ Моръ—средствами гражданскими.

Такова ихъ связь и ихъ различіе. Это — близкое, трезвое

прикосновеніе сознанія къ жизни, и если не полное, то вѣрное въ общихъ чертахъ отраженія ея въ мысли. Въ немъ чувствовалось то тяготѣніе къ реализму, которое могло дать твердый устой сознанію въ области права и утвердить настоящую дорогу изслѣдованія коренныхъ вопросовъ права и политики. Это трезвое отношеніе, выраженное съ такой смѣлой вѣрностью у начала XVI вѣка, не осталось, какъ мы увидимъ, безслѣднымъ одиночимъ порывомъ. Но общая среда, въ которой показывался научный реализмъ, была покрыта повидимому еще другой стихіей. Твердый материкъ былъ какъ будто еще далеко не готовъ для сознанія. Туманъ идеализма, спавшій въ сокрушенной схоластикѣ, уже покрывалъ такими же зыбкими элементами почву сознанія; самыя проявленія реализма севозили какъ будто только чрезъ этотъ мракъ. Гуманизмъ переходилъ въ суевѣріе. Идеализмъ готовилъ реформацію, которую предсказывалъ Макиавелли. Посмотримъ теперь, что это былъ за идеализмъ на самомъ дѣлѣ.

ГЛАВА V.

Мистическія стремленія времени. — Символы реформаціи до Лютера. — Реформація въ Германіи. — Лютеръ. — Анабаптисты и крестьянская война — Юридическія теоріи лютеранской школы.

Макиавелли и Т. Моръ были яркими проблесками реализма въ исторіи политической мысли XVI вѣка. Но ихъ простой, откровенный приѣмъ въ научномъ дѣлѣ былъ не подъ силу обществу, выросшему въ школѣ схоластическаго лицемѣрія, прикрывавшаго тайную распущенность и общее презрѣніе къ чужому праву. Одного объявили нравственнымъ циникомъ, другаго сумашедшимъ;—это было въ порядкѣ вещей. Общество чтобы двинуться, требовало другихъ учителей, истины прямо оно слушаться не могло; какъ бы она ни была окромна, она должна была явиться завернутою въ старыя формы преданія, чтобы дѣйствовать.

Нужно ли спрашивать поэтому, что это было за движеніе идеализма, которому предстояло теперь играть такую яркую роль, затмѣвая повидимому всѣ реальныя интересы жизни; чѣмъ объяснить направленіе реформаціи въ виду начала того rea-

лизма въ наукѣ, который мы видѣли выше; какое значеніе приписать этому каноническому спору, поднявшемуся теперь на всю Европу? Реакція это противъ упадка вѣровавнй среди послѣднихъ ошибокъ римской церкви, или движеніе той части общества, среди которой еще сильно было преданіе? Ясно, что ни то, ни другое; что для насъ реформація будетъ продолженіемъ тѣхъ же реальныхъ симптомовъ, такимъ же свидѣтелемъ окончательнаго упадка схоластики.

Нѣсколько общихъ соображеній покажутъ намъ ближайшій смыслъ такого воззрѣнія.

Исторія сознания, какъ и исторія политическая, есть исторія противорѣчій. Эти противорѣчія, обрушаясь на долю извѣстной части общества, отражаясь ущербомъ въ матеріальномъ положеніи извѣстныхъ слоевъ, неизбѣжно закладываютъ здѣсь этимъ самымъ начало протестаціи, которая можетъ долго молчать, лишенная средствъ выразиться, но которая не замедлитъ сказаться при первой возможности.

Средневѣковая жизнь, собравъ въ своемъ устройствѣ множество такихъ ошибокъ, должна была вмѣстѣ съ тѣмъ развить и начало протеста въ тѣхъ классахъ, на счетъ коихъ развился и устроился средневѣковый порядокъ. Пока этотъ порядокъ держался на трехъ условіяхъ: на матеріальной силѣ и тѣсной связи свѣтскихъ феодаловъ и феодаловъ церкви, — словомъ, всѣхъ лицъ отъ него выигрывавшихъ, на развѣдченности подавленныхъ слоевъ и наконецъ на авторитетѣ сознания, которое оправдывало этотъ порядокъ, не какъ произвольный капризъ господствовавшихъ, а какъ законъ, обязательный для черни и феодаловъ, установленный свыше черезъ римскую церковь.

Всѣ эти условія въ свое время вязались тѣсно между собой. Но феодальный союзъ къ XVI вѣку значительно ослабѣлъ, се два общества выросло среднее состояніе, вслѣдъ за нимъ подымался и другой слой, въ самыхъ подавленныхъ частяхъ начинало чувствоваться давно броженіе, отиѣтившее себя

памятными кровопролитіями, которыя уже имѣли свою доктрину, отличную отъ римской.

Опытъ уже показывалъ отчасти, что не авторитетъ идей творить и охраняетъ тѣ или другія явленія, а совершенно наоборотъ: тамъ гдѣ станетъ возможнымъ какое либо явленіе, вслѣдъ за нимъ готово обыкновенно сейчасъ же согнуться сознание и дать все, что нужно для его оправданія.

Свѣтское право XVI вѣка, правда, имѣло еще много причинъ держаться официально схоластики. Королевская власть, напримѣръ во Франціи, выдѣляясь изъ-подъ вліянія папъ и феодаловъ, и становясь въ союзъ въ среднимъ сословіемъ, могла поощрять труды легистовъ, но только въ извѣстныхъ отношеніяхъ. Были предѣлы, за которыми эта власть не хотѣла стать чисто свѣтскою. Реализмъ, словомъ, каеъ бы онъ ни былъ присущъ убѣжденіямъ, выражался только изъ-подъ руки, надъ нимъ висѣлъ топоръ инквизиціи. Правда, также, что только въ такомъ внѣшнемъ видѣ могли поддерживаться теперь слѣды схоластики и въ политическихъ воззрѣніяхъ общества. Но это не спасло, конечно старыхъ идей отъ торжественнаго разложенія. Въ суммѣ дѣло должно было придти къ одному и тому же, и общество выражая протестъ свой въ событіяхъ, къ которымъ мы приступаемъ, должно было выразить вмѣстѣ съ тѣмъ и все равнодушіе свое въ политическихъ вопросахъ къ схоластическимъ началамъ, сдѣлавъ изъ нихъ послушное орудіе всѣхъ партій и интересовъ. Этимъ было сказано, конечно, то же самое, что говорили реалисты только на другомъ языкѣ.

Въ этомъ отношеніи печва, на которую вступила реформація, была подготовлена для нее какъ нельзя лучше общей наукой. Деморализація совершилась здѣсь не смѣльнымъ ударомъ, а медленно роняя шагъ за шагомъ мистицизмъ и подготавливая въ немъ предметъ общей спекуляціи. Взглянемъ, что здѣсь происходило въ XVI вѣкѣ, и мы увидимъ ясно эту ночву.

Восстановленіе древности, какъ оно явилось въ гуманизмѣ не было реставраціей древней культуры въ ея эллинской или римской чистотѣ. На днѣ его лежало такое же стремленіе разгадать или найти гдѣ нибудь спрятанную, или готовую мудрость, какъ формулу безусловнаго или конечныхъ причинъ. Чисто восточная черта связывалась въ такомъ влеченіи. Мысль хотѣла вторгнуться въ тайны природы и неба, а не искать истины медленнымъ и скромнымъ трудомъ. Любопытная жажда міроваго секрета уничтожала возможность серьезной работы. Въ-есто того, чтобы искать въ собственныхъ рукахъ средствъ къ успѣху, сознаніе искало гдѣ нибудь зарытаго клада и тратило на эти поиски свое время.

Отсюда недовольство классицизмомъ. Платонъ—просто Платонъ не можетъ, удовлетворить духу времени,—ему болѣе по сердцу мистическая восточная передѣлка Платона и неоплатоника; Аристотель также. Эмпиризмъ послѣдняго слишкомъ простъ, онъ даетъ мало мечтательной перспективы.

Непреодолимое чувство влечетъ сознаніе къ болѣе туманному связочному, но болѣе дающему простора фантастической жадѣ. Эта жажда сгѣдаетъ мысль времени и бросаетъ ее естественно за недовольствомъ европейской древностію къ родственному востоку, гдѣ она открываетъ книги кабалы, герметическія книги и египетскую магію. Съ этой фокуснической изнанкой древнихъ религіозныхъ толковъ, эта мысль сама становится шарлатанскою. Пикъ де Мирандола, самый цѣльный представитель этого мистицизма, тратитъ огромныя деньги на покупку у раввиновъ еврейской мудрости, тратитъ жизнь на отысканіе міровой тайны, изъ владѣтельнаго князя становится ученымъ авантюристомъ, объявляетъ свои 900 тезисовъ и, ударившись во все стороны мистицизма, теряется передъ страхомъ папскаго отлученія и какъ блудный сынъ возвращается къ схоластикѣ. Онъ приноситъ повинную панѣ, продаетъ свое княжество, вырученныя деньги раздаетъ церкви и умираетъ монахомъ.

Ученикъ Пика, Рейхлинъ, разнесеть книги вабалы по Европѣ. Агриппа Нидергеймскій живетъ шутомъ при различныхъ дворахъ. Теофрастъ Парацельсъ сводить медицину на алхимию.

Подъ вліяніемъ такого мистицизма, направленнаго къ вышнему міру, вся природа оживаетъ, наполненная невидимыми силами. Управление этими силами становится общей жаждой; мистическій матеріализмъ смѣняетъ идеализмъ схоластики, жизнь переполняется колдунами, фокусниками и астрологами. Заклинаніе, магія и алхимія становятся содержаніемъ науки и общимъ вѣрованіемъ раньше, чѣмъ весь этотъ мистическій матеріализмъ не разрѣшится въ пантеизмъ Жордано Бруно. Но католическая инквизиція сожжетъ и Бруно и Ванини, и все-таки не измѣнитъ этого направленія. Средневѣковый идеализмъ, ударившійся здѣсь въ свой антитезисъ, въ мистическій матеріализмъ, будетъ работать понятія еще два вѣка. Такъ въ общей культурѣ.

Два мистическія теченія: схоластика и теодицея перейдутъ здѣсь мало по малу, послѣ Бакона и Декарта, въ идеализмъ и матеріализмъ философскій, а вся культура изъ мистицизма въ идеологію. Отъ одной мистической вѣтви останется намъ сага о Фаустѣ; отъ другой — раздѣленіе церкви; отъ обѣихъ вмѣстѣ — рядъ костровъ и разливъ крови.

Но для того, чтобы совершиться всему этому, нужно будетъ еще два столѣтія; а время реформаціи примыкаетъ къ самому разгару волхвованій. Въ то время, когда писали Маккиавѣди и Томасъ Моръ, Рейхлинъ рассказывалъ въ Германіи раввинскую мудрость и вель изящные споры съ грубыми монахами. Колдуны и фокусники шли за нимъ слѣдомъ, и на ряду съ реалистами, въ политической наукѣ, общее знаніе переполнялось также мистицизмомъ. Но что это былъ за мистицизмъ, это также было ясно. Міръ старыхъ идей становился общей доходной статьёй. Среди такихъ выгодъ, какія свѣтская наука извлекала теперь изъ мистицизма, она не имѣла прѣмага разсчета стать сколько нибудь реальною. Не говоря уже о кост-

рахъ инквизиціи, прямой интересъ заставлялъ ее выворачивать на другую сторону схоластику; шарлатанская мудрость заклинаніе и алхімія становились теперь матеріальнымъ источникомъ жизни оборотной цѣнностію, и потому находили такое большое число адептовъ какъ между проповѣдниками, такъ и между учеными. Вся выгода эксплуатаціи этого поля, понятая очень хорошо ранѣе римскими дворами, теперь достигла общаго пониманія и потому породила массу алхимиковъ и массу же реформаторовъ. Къ этому присоединилась слабость римскаго двора, которая очищала имъ дорогу и дѣлала для нихъ успѣхъ менѣе рискованнымъ. Появленіе реформаторовъ объясняется, такимъ образомъ, съ одной стороны чисто экономическими условіями.

Такимъ же экономическимъ образомъ объясняется, съ другой, и ихъ успѣхъ. Если прямой матеріальный расчетъ заставлялъ всѣхъ спекуляторовъ мысли придумывать что либо особое отъ римскаго ученія, то такой же расчетъ заставлялъ ихъ отыскивать положительные мотивы раздѣла отдѣльныхъ слоевъ общества и сообразно этому строить свои ученія. Средневѣковое общество подготовило достаточное число недовольныхъ — церковью, феодалами и т. д., прикрывая свой порядокъ римскимъ авторитетомъ. Примѣняясь къ этимъ частнымъ сословнымъ неудовольствіямъ и варьируя сообразно съ этимъ свое ученье, реформаторы подрывали обязательность тѣхъ или другихъ невыгодныхъ условій въ самомъ источникѣ ихъ — въ авторитетѣ, одинаково признанномъ всѣми въ религіи. Народъ находилъ въ этомъ опору своему матеріальному протесту, и бросался по этому на всякую ересь, какъ на средство спасенія. Мистикомъ собственно говоря онъ былъ настолько, насколько требовало этого его безвыходное положеніе. Среди давно готоваго протеста онъ начиналъ теперь читать біблію, и здѣсь въ источникѣ, служившемъ авторитетомъ, ему указывали оправданіе своихъ требованій. Всего естественнѣе было съ его стороны ухватиться за такое оружіе.

Два интереса вязались принять образъ теперь въ реформаціи: одинъ сектаторскій, другой народный, — и оба были экономическими. Съ одной стороны было выгодно строить секты, выгодноѣ чѣмъ оставаться мелкими священниками римскаго двора или портными и сапожниками; съ другой—было также выгодно приставать къ сектамъ, которыя освобождали отъ каноническихъ или, тутъ же, и свѣтскихъ тягостей. Реформація представляла собой, такимъ образомъ, двѣ стороны. Съ одной—внѣшней—она являлась представителемъ мистицизма, который, чтобы устроить свое вліяніе, прибѣгалъ къ тѣмъ или другимъ приемамъ; откуда всѣ реформаціи, какъ бы не были онѣ различны по своему наглядному характеру, въ сущности клонились къ тому, чтобы наложить на внѣшній порядокъ однѣ и тѣ же условія фатализма: лютеранство, анабаптизмъ и кальвинизмъ— всѣ приложили къ политикѣ одно и то же начало предопредѣленія. Съ другой — всѣ они были, съ внутренней стороны, только отголоскомъ политическихъ, реальныхъ мотивовъ.

Въ такомъ видѣ реформація не противорѣчила болѣе тому реальному отрицательному направленію, какое заявило XVI столѣтіе въ трудахъ Макіавели и Томаса Мора. Посмотримъ теперь, въ какой степени такой взглядъ на реформацію оправдывается фактами.

Съ самыхъ давнихъ своихъ признаковъ реформаціонное движеніе было то болѣе радикальное, то болѣе умѣренное. Но всегда уже съ первыми зачатками его связывались болѣе или менѣе сильныя протестаціи противъ отдѣльныхъ политическихъ условій таковы; были религіозныя движенія, уже испытанныя до XVI вѣка и Англіей и Франціей.

Реформацію общество понимало не въ одной теоріи, а въ самой жизни, и требовало послѣдствій съ ней сообразныхъ.

Сказываясь уже съ XI вѣка, религіозное движеніе имѣло видъ протеста, направленнаго преимущественно противъ злоупотребленій церкви и католическаго духовенства. Относительно

свѣтской власти оно тогда еще не было радикально, по крайней мѣрѣ на это нѣтъ положительныхъ доказательствъ. Оно вооружалось съ одной стороны противъ догматовъ, съ другой— противъ разныхъ имущественныхъ прерогативъ церковныхъ властей, и въ этомъ отношеніи находило понятную опору со стороны всѣхъ сословій.

Пеллагианизмъ въ Англіи и альбигойцы на югѣ Франціи, кажется лишены были тѣхъ крайнихъ политическихъ притязаній, которыя были общи послѣдующимъ сектамъ. Къ альбигойцамъ принадлежала значительная часть всего южнаго населенія, и въ томъ числѣ достаточное число дворянъ и зажиточныхъ горожанъ средняго сословія. Что касается общаго мнѣнія, распространеннаго на счетъ всего этого ряда сектъ католическими писателями, представлявшими ихъ врагами всякаго порядка, то насчетъ альбигойцевъ есть свидѣтельства очень драгоцѣнныя, какъ, напримѣръ, слова св. Бернарда, который проповѣдывалъ противъ нихъ въ 1347 году и при этомъ выражался, какъ конечно, онъ не могъ выразиться о поклонникахъ Рима: „ихъ нравы безукоризненны,“ говорилъ онъ, „они никого не угнетаютъ, и никому не причиняютъ обиды; ихъ лица истощены постомъ, они не ѣдятъ своего хлѣба, какъ тунеядцы, а добываютъ его въ потѣ лица.“ На ряду съ такими словами становится слишкомъ понятно то, что писалось о нихъ такими людьми, какъ Восюэ, напримѣръ: *leur piété n'était qu'apparente. Regardez le fond: c'est la haine contre le clergé c'est l'aigreur contre l'église. C'est par là qu'ils ont avalé tout le venin d'une abominable heresie.*

Но строгость и чистота жизни альбигойцевъ не предупредили всѣхъ кровопролитій противъ нихъ; съ другой стороны кровопролитія не потушили раскола, а только постепенно разжигали его проявленія. Католическое духовенство своими насильственными мѣрами дѣлало все, чтобы только плодить ересь. Разсѣянные во Франціи альбигойцы, какъ бываетъ постоянно послѣ

всѣхъ крутыхъ пораженій еретиковъ, разсѣялись по Европѣ и все-таки не исчезли и во Франціи, гдѣ они послѣ слились съ кальвинистами.

Въ началѣ XIV вѣка тотъ же протестъ албигойцевъ сказанъ въ Германіи проповѣдью англичанина Лоллара, у котораго было, по слухамъ, до 80,000 учениковъ. Схваченный въ Кельнѣ инквизиціей, онъ былъ сожженъ въ 1322 г. Его приверженцы нашли опять убѣжище частью въ Англіи, частью въ Богеміи. Два года спустя, родился въ Англіи Джонъ Вайклефъ, проповѣдь котораго была уже рѣшительнѣе по своимъ послѣдствіямъ; по крайней мѣрѣ самъ Вайклефъ требовалъ обращенія церковныхъ имуществъ на общественную пользу для облегченія налоговъ, тяготившихъ бѣдные классы, и установленія англійской независимой церкви, уничтоженія церковнаго суда и вообще всякаго права духовенства на свѣтскія должности; о догматахъ мы не говоримъ. Требования его имѣли большое сходство съ Лютеромъ, и онъ также имѣлъ поддержку въ аристократіи. Но одновременно съ нимъ сказалась проповѣдь болѣе радикальная. Былъ ли сколько нибудь Вайклефъ ея виновникомъ, — неизвѣстно. Пока происходило въ концѣ XIV вѣка въ Англіи это послѣднее волненіе, настоящими проповѣдниками котораго были Ватъ-Тайлеръ (Wat-Tyler) и Балъ (John Ball), Вайклефъ оставался совершенно спокойнъ, и послѣ трагическаго конца всего дѣла не былъ призванъ къ отвѣту; впрочемъ, это вопросъ второстепенный. Достаточно того, что возстаніе низшихъ классовъ, вспыхнувшее теперь при прямомъ участіи Тайлера и Бала требовало уже общаго уничтоженія феодальныхъ правъ и крѣпостной зависимости, совершенной свободы внутренней торговли и т. д.

Оно-то оставило знаменитую пѣсню:

«When Adam delved and Eva span
«Who was then the gentlemen?»

Движеніе было потушено обманомъ; инсургентамъ были объ-

щаны всѣ ихъ требованія, кончая амнистіей; но когда они сложили оружіе, дѣло измѣнило оборотъ. Ватъ-Тайлеръ былъ убитъ предательски; и виселица и капканъ совершили вочевой судъ надъ усмиренной страной.

Въ XV вѣкѣ, наконецъ, продолженіе подобнаго же религіознаго протеста проявилось въ дѣлѣ Гусса и нашло одинаковую поддержку въ низшихъ классахъ и въ аристократіи. Чехъ Гусъ и Геронимъ Пражскій были также сожжены, но также оставили сильную пропаганду.

Религіозныя движенія въ XVI вѣку представляли такимъ образомъ, на ряду съ болѣе умѣренными ученіями, и отмѣченные все болѣе и болѣе смѣлымъ характеромъ. Всѣ они были народны, если мы хотимъ, и находили большую часть своихъ приверженцевъ въ простомъ классѣ; но одни при этомъ думали опираться прямо на интересы подавленныхъ слоевъ общества и потому со стороны политической были отмѣчены болѣе демократическими тенденціями; другія искали опоры въ другихъ слояхъ, и потому были осторожнѣе и консервативнѣе. Съ тѣми же двумя оттѣнками выступила и реформація въ XVI вѣкѣ. Два эти мотива сказались только теперь еще рѣзче и опредѣлительнѣе: одинъ у анабаптистовъ, другой у Лютера. Среди жизни, основанной на спекуляціи, слѣдовательно на аристократическомъ принципѣ, можно предугадывать какому изъ двухъ мотивовъ должна была быть болѣе благопріятна судьба; но тѣмъ не менѣе въ Германіи сказались теперь ясно двѣ реформаціи, одна болѣе народная, другая аристократическая. Это было какъ бы повтореніе того, что произошло въ Англіи въ концѣ XIV вѣка. Такъ много сходства между Вайклемомъ и Лютеромъ, между Тайлеромъ и Томой Мюнцеромъ, между крестьянской войной тамъ и здѣсь.

Въ то время когда Рейхлинъ, вмѣстѣ съ своими друзьями и приверженцами, спорилъ въ Германіи съ грубыми монахами о необходимости вкуса, классическаго слога и языка, въ Эр-

фуртъ обращалъ на себя вниманіе своими проповѣдями монахъ августинскаго ордена Мартинъ Лютеръ. Въ 1508 году онъ былъ призванъ профессоромъ теологіи въ витенбергскій университетъ, основанный только въ 1502 году. Онъ не принималъ никакого особеннаго участія въ спорахъ Рейхлина, изучалъ Библію и думалъ пока объ одномъ, чтобы проповѣдь его была какъ можно болѣе вѣрна смыслу писанія. Чуждый одинаково и схоластикѣ и гуманизму, онъ не объявлялъ пока открытой войны никакой партіи; но католическая церковь и обстоятельства приготовили ему, какъ извѣстно, другую роль. Римскій дворъ, оправдывая для себя свѣтскія права и условія, какъ мы сказали, долженъ былъ слѣдовать волей или неволей, болѣе или менѣе за этими условіями всюду, куда они ни повели бы жизнь. Грубый ригоризмъ, въ которомъ была закована мысль среднихъ вѣковъ, смѣнился гуманизмомъ, и Италія первая сдѣлалась его средоточіемъ. Папство сдалось на прихоть глаза и слуха, на изящный сенеуализмъ, на мягкость формъ. Римскій дворъ разорялся въ лицѣ Медичисовъ на живопись и постройки, на открытіе древностей, роскошь и блескъ; Римъ сдѣлался пріютомъ художниковъ, городомъ шумныхъ праздниковъ, и проматывался. Постройка церкви св. Петра истощила въ конецъ его казну. Ему нужны были деньги, нашлись и средства. Папа Левъ X отдалъ на откупъ продажу индульгенцій, и монахъ Тецель поѣхалъ по Германіи. Здѣсь Курфирстъ Альбертъ Майнцкій долженъ былъ содѣйствовать успѣху. Тецель не замедлилъ прибыть въ Витенбергу и недалеко отсюда, въ виду Лютера, расположилъ свою лавочку.

Лютеръ протестовалъ, прибывъ 95 тезисовъ въ витенбергскомъ соборѣ. Тецель отвѣчалъ съ своей стороны тѣмъ же. Папскій легатъ, присланный унять споръ, разжегъ дѣло, насколько могъ только и приготовилъ необходимость разрыва.

Но отъ этого перваго явнаго шага противъ католицизма до 1555 года, года религіознаго міра, установленнаго въ Ауг-

сбургъ, — ученіе Лютера осталось вѣрно своему мѣстному характеру и тѣмъ приблизительно границамъ, въ которыхъ Лютеръ начиналъ свою первую проповѣдь, границамъ чисто каноническимъ. Событія, слѣдовавшія въ этотъ періодъ, только рѣзче обрисовали его замкнутость въ этихъ предѣлахъ. Одинаково отрѣшаясь отъ католицизма и свѣтской науки, Лютеръ весь углублялся въ Библию и здѣсь искалъ очищенія вѣры.

Протестъ его направлялся поэтому исключительно противъ канонической части схоластики, противъ тѣхъ частныхъ положеній самаго культа, которыя были установлены римскимъ дворомъ.

Трѣгать свѣтскаго порядка при этомъ онъ явно не хотѣлъ, и имѣлъ на это свои причины. Въ этомъ порядкѣ онъ видѣлъ необходимую опору для своей борьбы съ папой, и въ этой войнѣ выбралъ вѣрно своего союзника въ аристократическомъ элементѣ.

Отсюда дѣятельность Лютера по отношенію къ свѣтскому праву бѣдна и осторожна. Онъ обращался къ общественному образованію, но только для того, чтобъ исторгнуть его изъ католическихъ понятій. Философіи онъ не терпѣлъ, утверждая, что она мѣшаетъ чтенію Библии. Самъ онъ толковалъ, правда, о естественномъ правѣ въ отличіе отъ права внѣшняго, ставя источникомъ его свободное чувство, живущее въ сердцѣ, и даже разумъ; но все это сейчасъ же сводилось на религіозную основу.

Отъ прямаго рѣшенія въ свѣтскихъ вопросахъ онъ отказывался, и при этомъ ясно вытекаетъ наружу его расчетъ и намѣренная уклончивость. „Кто хочетъ быть умнѣе въ свѣтскихъ вещахъ, тотъ долженъ читать въ языческихъ книгахъ. Въ нихъ очень богато и хорошо изложено все въ примѣрахъ, поученіяхъ, образахъ и картинахъ, въ которыхъ объяснены и всѣ права кесарей.“ Вотъ что на этотъ счетъ говорилъ Лютеръ.

Итакъ прямо Лютеръ ничего не хотѣлъ дѣлать для права и ничего не сдѣлалъ самъ; онъ отказывался отъ вывода, который долженъ былъ слѣдовать изъ лютеранства по этимъ вопросамъ. Онъ основывалъ свой расчетъ на сокрушеніи папы и и не шелъ дальше, и потому этого вывода мы должны искать у другихъ.

Если Лютеръ былъ болѣе политикъ и практикъ по характеру, и уступалъ въ своихъ приговорахъ насчетъ всего, что выходило изъ его тѣсной канонической рамки только вынужденнымъ требованіямъ, то подъ рукой у него стоялъ человѣкъ, болѣе наивнаго права. Этотъ маленькій невзрачный человѣкъ, поразившій Лютера при первомъ появленіи своемъ, непредставительностію своей фигуры, былъ теоретикъ, доктринеръ и педагогъ по характеру. Онъ много хлопоталъ объ изгнаніи схоластики изъ образованія и о замѣнѣ ея классицизмомъ, какъ ученіемъ и родственникъ Рейхлина. Меланхтонъ первый по этому выразилъ настоящее отношеніе лютеранства къ вопросамъ свѣтскаго порядка, и это отношеніе явилось у него, какъ должно было и ожидать, повтореніемъ прежней смѣси аристотелевой философіи и мистицизма, которое мы уже видѣли въ схоластикѣ, очищенное развѣ только отъ всѣхъ частныхъ выводовъ своихъ въ пользу римскаго двора. Лютеранство такимъ образомъ вездѣ оставалось вѣрнымъ своему принципу очищенія. Лютеръ очищалъ догматы вѣры отъ католическаго искаженія, Меланхтонъ — положенія науки отъ схоластическихъ частныхъ; но и только. Начала остались тѣ же.

По отношенію къ праву, Меланхтонъ прямо указывалъ поэтому на этику Аристотеля, хвалилъ ее за то, что въ ней признается человѣческая природа за источникъ нравственнаго закона, и упрекалъ въ одномъ, что она не ссылается на христіанство и заповѣди, ибо этика, чтобы быть истинной наукой, не можетъ миновать этого. Признавая такимъ образомъ науку, онъ хотѣлъ, чтобы она служила вспомогатель-

нымъ средствомъ лютеранскаго толка. Признавая въ человѣкѣ психическую силу познанія добра и зла, какъ естественнаго права, вложеннаго въ сердце, онъ тутъ же находитъ эту силу недостаточною для познанія вполне справедливаго и несправедливаго, и дополняетъ ее писаннымъ естественнымъ закономъ въ декалогѣ. Хвала Аристотеля, онъ находитъ неудовлетворительнымъ его опредѣленіе справедливости, какъ должнаго повиновенія законамъ, и ставитъ такое: справедливость есть отъ самой природы предписанное человѣку повиновеніе Богу, по различію добра и зла, для того, чтобъ онъ чтить его и знать, что должно дѣлать и чего пѣть.

До сихъ поръ, все какъ нельзя болѣе согласно съ схоластикой. Сейчасъ мы увидимъ и различіе. Право, согласно Меланхтону, можетъ быть естественное и положительное. Положительное право также установлено Богомъ послѣ грѣхопаденія, и имъ же поставлена власть для наблюденія за исполненіемъ десяти заповѣдей—это власть свѣтская. Ей собственно должно повиноваться. Церковь также способствуетъ исполненію заповѣдей; но участіе ея при этомъ чисто духовное. Она не издаетъ никакихъ законовъ и не наказываетъ, она исправляетъ сердца и отлучаетъ. Вотъ это отличіе. Какъ мы говоримъ, все что въ немъ есть рѣшительнаго, касается каноническаго права. Последнее дѣйствительно стерто въ прахъ, непогрѣшимость и свѣтскія права папы, которая защищала схоластика, растоптаны; во всемъ другомъ схоластическая основа права возобновлена почти неизмѣнною.

Таковъ былъ протестъ противъ схоластики, отвѣчавшій одной части общества, феодальной или аристократической. Мы сейчасъ встрѣтимся съ другимъ, выраженнымъ тѣми классами, интересы которыхъ требовали другихъ послѣдствій.

Протестъ анабаптистовъ былъ другой уже въ самой догматической части. Прозванные вообще перекрещенцами, потому что они отрицали крещеніе дѣтей и требовали вторичнаго кре-

щенія, — они и здѣсь шли далѣе Лютера, а въ политическомъ отношеніи касались крайнихъ результатовъ. Сторкъ, ученикъ Лютера, и Карлштадтъ хотѣли собрать въ одну общину всѣхъ истинно вѣрующихъ и возрожденныхъ новымъ крещеніемъ изъ прокаженной церкви.

Въ то время, когда Лютеръ жилъ въ Вартбургѣ, Карлштадтъ въ Виртенбергѣ отвергъ обѣдню, проповѣдывалъ уничтоженіе духовенства, образовъ и обрядовъ, и бѣгалъ по улицамъ, обращаясь къ самымъ темнымъ людямъ, прося у нихъ объясненія разныхъ темныхъ мѣстъ писанія.

Лютеръ испугался проповѣди Карлштадта, и не усидѣлъ въ Вартбургѣ. Онъ явился въ Виртенбергѣ и громилъ анабаптистовъ цѣлую недѣлю ежедневными проповѣдями, успѣвъ, какъ говорятъ, отклонить здѣсь сердца отъ увлеченія новыми сектаторами.

Съ внѣшней стороны эта проповѣдь была также безнадежна; она хотѣла формальнаго осуществленія буквы въ жизни во всей строгости ея аллегорій, и потому въ сущности была такимъ же фатальнымъ неумолимымъ формализмомъ, отрицавшимъ всякую цѣль свѣтскаго порядка въ самомъ себѣ. Отъ католическаго и лютеранскаго фатализма анабаптизмъ отличался тѣмъ, что тамъ предопредѣленіе являлось, какъ произвольный порядокъ случая, здѣсь — какъ порядокъ опредѣленный самымъ ученіемъ. Жизнь была связана тамъ и здѣсь посторонними цѣлями. Но подъ мистическимъ покровомъ здѣсь ясно сказываются другія тенденціи, вовсе не схоластическія.

Тенденціи эти, какъ мы сейчасъ увидимъ, и должны были получить болѣе широкій исходъ. Одинъ изъ учениковъ Сторка, Тома Мюнцеръ, придавъ понятіямъ анабаптистовъ болѣе практической оборотъ, рассчитывая найти опору не въ тѣсной сектѣ, которая должна была запирается отъ свѣта, а въ подавленныхъ слояхъ гражданскаго общества.

Уже не разъ крестьянское населеніе пробовало въ разныхъ

частяхъ Европы, подыматься противъ феодальныхъ условий. Французская жакри должна была быть еще жива въ памяти. Въ девяностыхъ годахъ прошлаго вѣка, крестьяне произвели возстаніе въ Нидерландахъ, и здѣсь имъ удалось достигъ лучшаго положенія. Очередь доходила до Германіи. Въ началѣ XVI столѣтія вспыхивали уже отдѣльныя возстанія въ Швабіи. Въ Австріи также начинались безпокойства; въ Венгріи народъ явно вооружался противъ дворянства и духовенства. Въ этихъ первыхъ, хотя отдѣльныхъ и подавленныхъ возстаніяхъ сказывались не совсѣмъ успокоительные симптомы. Теперь реформація давала общее напряженіе настроенію умовъ. Къ такому-то настроенію рабочаго класса, измученнаго въ конецъ постоянно возрастающими налогами, применили теперь перекрещенскіе пророки. Тома Мюнцеръ ходилъ съ товарищами по Южной Германіи и повѣщалъ о низложеніи, какъ свѣтской, такъ и духовной власти и т. д. Отсюда эти рѣчи проникли въ Шварцвальду и Боденскому озеру, въ мѣста сосѣднія Швейцаріи, утвердившей собственными средствами свою независимость, и въ 1525 году начались быстрыя, рѣшительныя возстанія въ разныхъ мѣстахъ, одно за другимъ, которыя вскорѣ покрыли Швабію, Эльзасъ, Франконію, Гарцъ, Турнигію и оба берега. Народъ формулировалъ свои понятія о реформаціи въ двѣнадцати параграфахъ, и они-то служатъ памятникомъ его протеста противъ феодальной жизни; вотъ эти пункты:

- 1) Право выбирать своихъ пасторовъ между свободными проповѣдниками.
- 2) Уменьшеніе десятины и назначеніе ихъ на содержаніе учителей и вспомошествованіе бѣднымъ.
- 3) Уничтоженіе крѣпостнаго права, такъ какъ кровь Христа одинаково искупила всѣхъ.
- 4) Право охоты и рыбной ловли, какъ слѣдствіе власти, данной человѣку Богомъ надъ всею землею.
- 5) Право пользованія въ лѣсахъ.

6) Уменьшеніе повинностей.

7) Право владѣть и арендовать чужія земли по свободнымъ условіямъ.

8) Уменьшеніе податей.

9) Право суда.

10) Возвращеніе общихъ пастбищъ, отобранныхъ дворянствомъ.

11) Уничтоженіе дани, платимой владѣльцу вдовой и сиротами, послѣ смерти отца семейства.

12-й пунктъ требовалъ, чтобы настоящія притязанія крестьянъ были обсуждены на основаніи писанія. Они отказывались отъ всего, что бы оказалось несогласнымъ съ послѣднимъ.

Съ такими-то положеніями народъ обходилъ теперь страну и вооруженной рукой требовалъ ихъ признанія, разрушалъ монастыри и замки, грабилъ и казнилъ феодаловъ, которые не соглашались признать ихъ домогательства. Возстаніе росло быстро и успѣвало съ каждымъ шагомъ. Тома Мюнцеръ въ Турингіи провозглашался пророкомъ. Лютеръ сначала держалъ себя довольно умѣренно. Онъ выговаривалъ даже аристократіи ея притѣсенія и звѣрство и призывалъ народъ къ миру. Но слова, на которыхъ крестьяне опирали свое движеніе, были отчетливы и просты. „Пусть докажутъ намъ,“ говорили они: „что одинъ или нѣсколько изъ здѣсь написанныхъ пунктовъ не согласны съ писаніемъ, и мы готовы отъ нихъ отступить. И если бы теперь даже были признаны пункты, которые оказались бы послѣ неправильны, то они должны быть мертвы съ того часа, когда это будетъ доказано, и потерять всякую силу.“

Во всемъ этомъ Лютеръ долженъ былъ очень хорошо видѣть, куда должно вести начало его дѣла, послѣдовательно проведенное до его послѣднихъ результатовъ. Онъ видѣлъ невозможность обойтись безъ схоластическаго фатализма, этого стараго средства, на которомъ держался уже прежде свѣтскій

порядокъ въ мирѣ съ католицизмомъ и о которомъ хлопотали и Мелапхтонъ, и Кальвинъ. Въ немъ-то онъ нашель свое боевое слово теперь. Испуганный не столько внѣшнимъ движеніемъ крестьянъ, сколько успѣхами анабаптистовъ, возраставшими, опираясь на это движеніе, — онъ написалъ извѣстное посланіе, въ которомъ проклялъ народъ.

Съ большей или меньшей скоростію возстаніе было усмирено.

За прекращеніемъ войны послѣдовала мечь казней. Цвѣтущія страны были опустошены и залиты крестьянской кровью. Въ одномъ Эльзасѣ, несмотря на принятые 12 параграфовъ, было низложено 17,000 крестьянскихъ головъ. Ома Мюнцеръ также казненъ. Положеніе крестьянъ вездѣ сведено на прежнія тягости.

Въ крестьянской войнѣ были побѣждены рѣшительные размѣры реформаціи. Анабаптисты ея проповѣдники частію нашли здѣсь смерть, частію были разсѣяны.

Реальныя стремленія мистицизма должны были потерять всякій расчетъ на прочную опору и общее политическое значеніе, и эта часть реформаціи сведена снова на тѣсныя границы сектаторской проповѣди.

Разсѣяные послѣ крестьянской войны, перекрещенцы въ 1533 г. еще разъ, соединившись въ Вестфалии, попытали счастье политической дѣятельности вооруженной силой въ Мюнстерѣ. Здѣсь еще разъ проповѣдь анабаптистовъ приняла рѣшительные размѣры, подъ влияніемъ прибывшаго сюда изъ Нидерландовъ, гдѣ болѣе всего, между многочисленнымъ ремесленнымъ классомъ, утвердилось ученіе перекрещенцевъ, пророка Іоанна Матисена, булочника изъ Лейдена. Съ своимъ товарищемъ Іоанномъ Бокольдомъ, портнымъ изъ того же города (прозваннымъ послѣ Іоанномъ Лейденскимъ), они низложили городскія власти, изгнали жителей, противившихся ихъ ученію, и учредили общину.

Матисенъ былъ скоро убитъ; Иоаннъ Лейденскій сталъ во главѣ новой республики, ввелъ общеніе женъ къ признанному уже общенію имуществъ, назвался царемъ новаго Израиля и поставилъ тронъ Давида на городской площади. Но все это кончилось довольно печально. Новое царство Израиля было разрушено послѣ упорной обороны, и Иоаннъ Лейденскій схваченъ. Съ этимъ исходомъ кончились политическія притязанія анабаптистовъ. Разсѣянные здѣсь, еще разъ они устроились небольшими обществами, частію въ Богеміи, частію въ сѣверной Германіи и Нидерландахъ, гдѣ сохранились до сихъ поръ. Они попрежнему отвергають крещеніе дѣтей, установленіе духовенства, приемъ въ военную службу и вмѣшательство въ гражданскія отношенія, и ведутъ простую, тихую жизнь арендаторовъ и земледѣльцевъ.

Лютеръ и его реформація побѣдили; за ними осталось теперь очищенное поле. Но эта побѣда не была простымъ сектаторскимъ дѣломъ: въ ней былъ водруженъ навсегда для Германіи въ наукѣ путь идеализма. Практическія требованія жизни, разрываемой спекуляціей, выраженныхъ въ событіяхъ, о которыхъ мы только что говорили, должны были отступить передъ лютеранствомъ. Движеніе анабаптистовъ, послѣдовательное съ одной стороны, было столь же непослѣдовательно съ другой: они не знали того оружія, за которое брались; не знали, что оно о двухъ концахъ, изъ которыхъ одинъ направленъ за него, другой противъ него. Они не знали этого свойства всякаго идеализма, представляющаго неизсякаемый источникъ противорѣчій. Это, напротивъ очень хорошо видѣло лютеранство, и вотъ отчего оно побѣдило.

- Ни реализмъ римскій, ни реализмъ анабаптистовъ не подходили къ нему ни съ одной, ни съ другой стороны, будучи одинаково невыгодны для успѣха Лютера; и такъ, нужно было разорвать эту опасную послѣдовательность въ народномъ духѣ, разбить въ немъ на два міра мысль и дѣло. На этомъ усло-

ви, только не повторяя слово-въ-слово схоластики, Лютеръ могъ соблюсти права аристократіи противъ результатовъ ана-баптизма, и только соблюдая эти права, онъ могъ удержаться самъ. И вотъ это-то раздвоеніе, которымъ Германія обязана Лютеру, было порѣшено въ борьбѣ двухъ реформацій, и въ побѣдѣ послѣдней изъ нихъ католицизмъ и схоластика были все-таки реальнѣе: они утверждали отношеніе внутренняго міра убѣжденій къ внѣшнему порядку хотя грубымъ узломъ, но все-таки не отрицали этой связи. Лютеранская реформація не рѣшаясь утвердить этой связи на болѣе совершенныхъ началахъ, предпочла разорвать ее вовсе.

„Церковь не должна стоять одной ногой въ храмѣ, другой въ куріи“, говорила она, заключаая вѣру въ храмъ и представляя положительную жизнь вѣдаться по своему. Эта реформація убивала социальный мотивъ религіи и отношеніе духовнаго сознанія вообще къ жизни. Народъ понималъ свои исповѣданія иначе — матеріально; реформація хотѣла уничтожить въ немъ это понятіе. Отвергая практическую вѣру въ своемъ ученіи, очищая ее, она ее отвлекала. Схоластика хотѣла видѣть въ догматизмѣ и внѣшнемъ порядкѣ двѣ посылки одного и того же силлогизма; реформація Лютера — два отдѣльные термина, вяжущіеся развѣ только своимъ противорѣчіемъ. Оно было очень хорошо для поддержанія рыцарства противъ народа, но и только.

Еслибъ Германія представляла единое цѣлое, національную централизацию съ національной властью, въ какой бы ни была формѣ, — власть, собственныя интересы которой требовали бы стѣсненія аристократіи, къ ней бы могъ примкнуть Лютеръ и реформація могла бы можетъ быть, имѣть другой исходъ; она не была бы такъ отвлеченна. Лютеръ не имѣлъ бы тогда причинъ на столько держаться курфирфистовъ и грундгеровъ, и громъ его проповѣди обратился бы можетъ быть противъ владѣльцевъ. Общая выгода стояла на сторонѣ политической централизаци

въ XVI вѣкѣ. Она была единственнымъ продуктомъ конкуренціи, въ которомъ послѣдняя могла найти себѣ какое либо противорѣчіе, и дѣйствительно нашла его отчасти въ исторгнутомъ судѣ и администраціи, изъ частно-имущественныхъ понятій. Съ такой опорой, Лютеръ ида наперекоръ политическимъ правамъ владѣльцевъ, могъ связать свое дѣло, хоть въ какойнибудь степени, съ практическими интересами гражданского общества, и оставаясь вѣрнымъ своему личному успѣху, сдѣлать изъ своего ученія орудіе очищенія самой жизни, не наложивъ, въ отторженности религіи, конечнаго разрыва въ народномъ сознаніи понятій и дѣла. Но обстоятельства сложились иначе, другія вышли и послѣдствія.

Лютеръ утвердилъ свободу мысли въ Германіи: таково капитальное положеніе, которымъ чтятъ обыкновенно его имя въ наукѣ, т. е. въ переводѣ на простой языкъ онъ освободилъ ее отъ всякаго отношенія къ дѣйствительности. Въ результатѣ ученія, относительно нравственной жизни свѣтскій порядокъ представлялся самъ себѣ, т. е. фатализму, иначе политикѣ. Сознаніе касалось за тѣмъ одной чистой теологіи, которая, отказываясь отъ свѣта, опредѣляла однако нравственный законъ, написанный въ сердцѣ, и декалогѣ. Съ одной стороны, такимъ образомъ въ нравственномъ ученіи полагалось начало естественному праву; съ другой свѣтскій порядокъ совершенно отдѣлялся отъ него. Мыслителямъ лютеранской школы предстояло затѣмъ толковать о естественномъ правѣ, о декалогѣ, о законѣ, написанномъ въ сердцѣ, не трогая никогда того, что происходило въ дѣйствительной жизни. Такая нравственная философія должна была сама собой остаться нулемъ для практической дѣятельности; сознаніе въ рукахъ такой науки должно было быть оскоплено, осуждено на вѣчное холостое состояніе, вѣчный платонизмъ и идеологію, лишенную живаго прикосновенія къ дѣламъ грѣшнаго порядка, вѣчную философію естественнаго права, а не философію практической жизни. Осо-

бенность эта не замедлила сказаться въ первыхъ системахъ права, вышедшихъ на лютеранскій почвъ. Мы знаемъ уже отчасти то направленіе, въ которомъ толковались вопросы свѣтскаго порядка и права, съ лютеранской точки, Меланхтономъ. Къ этому направленію примкнули, какъ нельзя тѣснѣе, и первые философы права въ Германіи.

Съ одной стороны, у Ольдендорна, Лизіуса и Мейснера встрѣчается самое рабское повтореніе тѣхъ же меланхтоновскихъ взглядовъ, та же схоластика и тотъ же фатализмъ. Правда, начало религиозной замкнутости, утверждаемое Лютеромъ, представляло науку какъ бы собственнымъ средствамъ, отказываясь отъ свѣтскихъ вопросовъ и отдѣляло науку отъ религіи; но содержаніе этой науки, начавшей именоваться философіей, осталось то же.

Право осталось въ концѣ пустой, отвлеченной формулой дуализма. Затѣмъ нужно было, однако, опредѣлить содержаніе этого врожденнаго закона, выразить его какъ положительный законъ, и здѣсь-то оказалась пропасть, черезъ которую не въ состояніи былъ перешагнуть никогда идеализмъ, не смотря ни на какія гигантскія усилія. Передъ нимъ стоялъ постоянно округжающій порядокъ, и вотъ этого порядка онъ никогда не могъ ни объяснить, ни примирить съ собою, не смотря на все старанія, оставивъ въ суммѣ рядъ постоянныхъ натяжекъ и эквилибрическихъ опытовъ діалектики, потраченныхъ на философское оправданіе и отысканіе вѣчнаго закона въ тѣхъ формахъ, чрезъ которыя проходила положительная жизнь. Рядъ такихъ-то попытокъ и начинается передъ нами теперь юристами лютеранской школы XVI вѣка.

„Юристы могутъ въ одномъ вздохѣ насчитать 600 законовъ“, писалъ Ольдендорнъ: „но не имѣютъ никакого понятія о природѣ вещей и спорятъ поэтому о томъ, что само по себѣ ясно. Они не знаютъ вовсе, чего требуетъ время. Самое главное, что касается управленія государства и истолкованія заво-

на, —объ этомъ они не учать вовсе или учать очень ложно. Все это происходитъ оттого, что они не познають и не выводятъ права изъ философіи“. Ольдендорнъ хочетъ дополнить этотъ недостатокъ и дать это философское основаніе праву. Если мы взглянемъ затѣмъ въ это основаніе, то мы увидимъ, что вся предыдущая тирада не болѣе, какъ краснорѣчивое вступленіе. Та философская основа, которую предлагаетъ теперь Ольдендорнъ, существуетъ уже очень давно, и онъ повторяетъ только то, что уже говорилось и схоластикой и Меланхтономъ. Ольдендорнъ утверждаетъ, что человѣческое сердце есть писанная доска закона, въ которой испоконъ вѣка изображены всѣ основанія права. Далѣе, той же гипотезой паденія онъ возвращается къ декалогу. Стараясь отсюда объяснить положительное право, онъ видитъ повтореніе декалога въ римскихъ законахъ 12-ти таблицъ. Этого достаточно уже, чтобы понять какимъ порядкомъ естественное право сводится съ положительнымъ.

Ольдендорнъ посвятилъ свою книгу двумъ лицамъ разомъ: Карлу V и Фердинанду. При такихъ условіяхъ отказаться и въ ученіи о власти отъ схоластической основы Ольдендорнъ не рѣшился. Онъ дѣйствительно повторяетъ ее цѣликомъ.

Оригинальнѣе Ольдендорна Гемингъ (1513—1600).

Преимущество его передъ Ольдендорномъ состоитъ въ томъ, что онъ не отправляется болѣе отъ декалога, хотя и возвращается въ концѣ къ нему и признаетъ за человѣческой природой способность познать естественное право изъ самой себя. Онъ даже хвалится тѣмъ, что не приводитъ въ своемъ изслѣдованіи ни одного богословскаго мнѣнія. Нравственный законъ, написанный въ природѣ человѣка, долженъ быть по его мнѣнію опредѣленъ и развитъ изъ нея философскимъ путемъ и въ результатъ выложенъ каталогъ законныхъ нормъ и добродѣтелей. Отъ Ольдендорна Гемингъ отличается стройностію. Законныя нормы пишетъ онъ не суть внѣшнія сентенціи, — а нормы при-

роды; нарушение их нарушает эту природу, и потому прежде всего эта природа должна быть познана. По примѣру Рейхлина, Гемингъ признаетъ три степени познанія, чувство, умъ и разумъ. Въ отношеніи предметовъ познанія, Гемингъ различаетъ двѣ способности, мыслящую и дѣятельную. Мыслящая познаетъ вещи; дѣятельная — справедливое употребленіе вещей; въ основаніи первой лежатъ принципы мышленія, въ основаніи второй — принципы дѣятельности. Принципами онъ называетъ ихъ потому, что они не требуютъ никакихъ доказательствъ. Собственно это отвлеченныя категоріи и формы мыслей: единичности, добра, причины, отрицанія, правды, и т. .; изъ нихъ-то должна быть выведена и опредѣлена какъ природа вещей, такъ и правила дѣятельности.

Цѣлью и средоточіемъ всего юридическаго познанія и опредѣленія поставленъ человекъ; но опредѣленная, такимъ образомъ, дѣятельность должна быть согласована съ Богомъ; ибо хотя всѣ вещи существуютъ ради человека, но человекъ все-таки существуетъ ради Бога.

„Цѣль практической жизни троякая: 1) экономическая: содержаніе дома, взаимная любовь родителей и дѣтей и должное почтеніе; 2) политическая: общественное спокойствіе, справедливость и порядокъ. Порядокъ невозможенъ безъ подчиненія, и вотъ основаніе власти по Гемингу, отличное отъ схоластики и Ольдендорна. Но повелѣвающіе не должны предписывать ничего противнаго естественному закону, и подчиненные не обязаны повиноваться имъ въ подобномъ случаѣ. Наконецъ 3) цѣль жизни — духовная: познаніе, боязнь и любовь Бога.

„Лучшее состояніе жизни есть благосостояніе, которое однако невозможно безъ религіи, разума и добродѣтели.“

„Весь этотъ нравственный порядокъ можетъ быть опредѣленъ независимо отъ декалога; но въ результатѣ онъ долженъ сойтись съ нимъ.“

Гемингъ умеръ въ 1600 году. Изъ писателей, которые продолжали это направленіе до Гроція, слѣдовало бы упомянуть о Винклерѣ; но Винклеръ принадлежитъ уже XVII вѣку по времени своей дѣятельности, хотя и у него естественное право еще не отрѣшается совершенно отъ схоластическихъ понятій; онъ только развиваетъ мысли Геминга немного далѣе. На другихъ писателяхъ этого направленія, болѣе бѣдныхъ, останавливаться было бы излишне. У Винклера мы возьмемъ нѣсколько словъ, которыя укажутъ намъ на разорванность и шаткое состояніе нравственныхъ убѣжденій, оставленное XVI вѣкомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ отгнать настоящее положеніе лютеранскихъ идеалистовъ въ ряду политическихъ и общественныхъ мыслителей времени.

Многіе не только отрицаютъ (пишетъ Винклеръ) происхожденіе естественнаго права изъ вѣчной справедливости, но сомнѣваются даже, чтобъ это естественное право могло существовать. Вмѣсто того, они боготворятъ добродѣтели, требуютъ для положительнаго права естественныхъ причинъ и осмѣиваютъ послѣднее, если не находятъ такихъ причинъ. Нѣкоторые принимаютъ законы за чисто произвольныя выдумки, застарѣлыя, вкоренившіяся мнѣнія. Есть люди, которые хотятъ уничтожить всякую власть, и эти называютъ себя христианами, — утверждаютъ, что они не нуждаются въ законѣ, ибо они слѣдуютъ сердцу, другіе, опять, не умѣютъ отличить естественнаго права отъ положительнаго и не понимаютъ, какія послѣдствія вытекаютъ отсюда для государства и церкви.

Въ такихъ словахъ можно найти ясный намекъ на все разнообразіе мнѣній, выраженныхъ въ XVI вѣкѣ, съ которыми мы встрѣтились уже отчасти; но въ нихъ также опредѣляется довольно понятно то отношеніе, въ которомъ находились всѣ писатели лютеранскаго идеализма, въ томъ числѣ и Винклеръ, къ этимъ критическимъ теоріямъ. Это отношеніе реактивное. Среди по-

трясеннаго общественнаго порядка, позолебленныхъ вѣрованій и совѣстей, они выросли на первыхъ порахъ, послѣ побѣды лютеранской реформаціи надъ радикальными стремленіями, и продолжали дѣло Лютера противъ анабаптистовъ и всѣхъ крайнихъ толковъ, которыми были встревожены умы и убѣжденія. Они не были, однимъ словомъ, безпристрастными судьями, а такими же людьми партіи, какъ Меланхтонъ, Сторкъ, Кальвинъ или Ноксъ. Успокоить совѣсти, давъ имъ объясненіе жизни по лютеранскимъ началамъ, — вотъ ихъ настоящая цѣль. Они всѣ лютеране и всѣ нѣмцы; между этими такъ названными первыми философами права, нѣтъ людей другихъ націй, — они составляютъ ясный продуктъ мѣстныхъ интересовъ и ограниченныхъ условій. Реформа Лютера была реакціей идеализма, убитаго всѣми ошибками римской церкви. Мы видѣли, какъ мало было слѣдовъ его у политическихъ писателей начала XVI вѣка; откуда же могла взятъся теперь эта связь съ схоластикой послѣ Макиавелли, Мора и др. Ясно, что она не принадлежала общему строю понятій, ни свободному развитію политической мысли, а была вызвана своими частными и чисто германскими причинами. Лютеръ водружалъ знамя идеализма въ Германіи, Меланхтонъ, Ольдендорнъ, Гемингъ и другіе совершали ту же реакцію въ наукѣ среди нѣмецкой земли.

Словомъ, они прежде всего друзья преданія и идеологи, и чисто лютеранскіе политики. Ольдендорнъ терпитъ постоянныя гоненія за свои религіозныя мнѣнія, а Гемингъ — теологъ и проповѣдникъ по профессіи.

Ольдендорнъ живетъ въ началѣ XVI вѣка и въ самый разгаръ реформаціи; Гемингъ въ самомъ концѣ столѣтія. Та разница, которая замѣчается въ ихъ трудахъ, опредѣляетъ такимъ образомъ и весь успѣхъ политической мысли за все это время въ Германіи; но мы были бы безразсудны, если бы хотѣли опредѣлять по этимъ трудамъ общее состояніе этой мысли.

А такъ дѣлала вѣдь собственно до сихъ поръ наука. Теперь можетъ быть ясно, что эта наука нѣмецкихъ книжекъ разсказывая свои исторію исключительно по Гемингамъ и Ольдендорнамъ, смотрѣла на свѣтъ однимъ глазомъ, и что этотъ глазъ былъ именно лѣвый.

ГЛАВА VI.

Кальвинъ и его ученіе.—Свѣтскіе писатели время Кальвина.—Мишель Лопиталь и Лабозти.—Кальвинисты въ Англіи: Ноксъ, Букананъ и Пайнс.—Публицисты школы Кальвина во Франціи и публицисты Лиги.

Другой характеръ имѣла реформація Кальвина, и другое было ея вліяніе на политическую литературу.

Здѣсь мы прямо чувствуемъ себя на почвѣ реализма, и это должно казаться довольно странно. Ученіе которое являлось все-таки во имя идеальныхъ началъ, искаженныхъ католицизмомъ, является болѣе матеріальнымъ съ одной стороны, именно политической, самого католицизма. Для этого нужно было, чтобы оно было пропитано тѣмъ крайнимъ фанатизмомъ, которымъ дышитъ проповѣдь Кальвина. Связь кальвинизма съ реальнымъ миромъ, общая всякому идеализму, — будетъ ли онъ схоластическій, римскій, лютеранскій или философскій, — это фатализмъ. Разница только въ границахъ и характерѣ самаго предопредѣленія.

Если Лютеръ избѣгалъ вообще въ своемъ ученіи свѣтскихъ вопросовъ, и становился на сторону схоластическаго фа-

тализма только вынужденный настоятельными требованіями насущныхъ событій; если въ результатѣ онъ искалъ отторженности сознанія отъ свѣтскихъ вопросовъ и дѣлъ, — то у Кальвина, въ самой теоріи его не только открыто выдержана католическая связь церкви и свѣта, но вліяніе каноническаго начала на гражданскія отношенія оставляетъ за собой здѣсь далеко папскую церковь. Никогда еще, кажется, и нигдѣ на христіанской почвѣ не раздавалось проповѣди, гдѣ бы начало предопредѣленія было доведено до такихъ крайнихъ границъ. Дальше Кальвина въ этомъ отношеніи идти было трудно, если не совершенно невозможно. Это ученіе и безъ того совершенно безжалостно: ни малѣйшаго состраданія въ немъ не проглянетъ къ человѣку, въ какомъ бы задавленномъ положеніи оно его ни встрѣтило. Люди всѣ убиты одинаковымъ презрѣніемъ; земля для всѣхъ одинаковое мѣсто проклятія, противъ котораго никто не имѣетъ права протеста. И чѣмъ дальше, тѣмъ яснѣе и рѣзче распространялъ Кальвинъ въ своемъ ученіи эту проповѣдь. Ригоризмъ и регламентація гражданской жизни церковью грозили замкнуть эту жизнь въ формы невѣдомыя до сихъ поръ, утвердить этотъ ригоризмъ мечемъ и силой, оправдавъ все въ концѣ теократическимъ началомъ всякой власти. А между тѣмъ нигдѣ эта власть, которой давалась такая крайняя опора, не подвергалась такимъ рѣшительнымъ ударамъ въ теоріи и внѣшнихъ событіяхъ, какъ у писателей и дѣятелей, вышедшихъ изъ школы Кальвина. Странное на первый взглядъ противорѣчіе. Вглядимся ближе, и мы увидимъ, что на ряду съ такими началами заложены совершенно другія, дѣлающія изъ кальвинизма одинаково школу безпрекословнаго повиновенія, крайняго протеста деспотизма и свободы. Крайнія противорѣчія сведены здѣсь искусно въ одно ученіе нагляднаго смиренія, и поставлены орудіемъ одного только сектаторскаго успѣха. Свѣтскій фатализмъ служилъ опорной ступенью только самому успѣху религіознаго толка, оправдывая которую онъ ставилъ

вмѣстѣ съ тѣмъ выше всего фанатизмъ и его права, открывая ему одинаково всѣ пути для своего успѣха.

Это была главная и единственная цѣль женевскаго реформатора; это была и главная цѣль Лютера. Но если Лютеръ называлъ свое ученіе ученіемъ мира, то Кальвинъ открыто взывалъ къ мечу и кровопролитію, требовалъ фанатическихъ средствъ своему толку, со всѣми ихъ послѣдствіями.

Политическій успѣхъ проповѣди — вотъ къ чему одинаково стремились и Кальвинъ и Лютеръ, каждый по своему, каждый опираясь на различныя политическія силы и потому различныя средства; оба хитрили и были политиками. Лютеръ не имѣлъ передъ собою централизованной власти, на которую могъ бы опереться; онъ применилъ къ аристократіи. Кальвинъ видѣлъ передъ собою такую власть; онъ началъ съ того, что возложилъ на нее свои надежды. Но онъ былъ остороженъ; вмѣстѣ съ тѣмъ для него было ясно одно только, что для успѣха проповѣди нужна будетъ и власть — въ какомъ бы видѣ она ни представилась — и отрицаніе власти, и что кальвинизмъ долженъ вѣстись одинаково равнодушно за все, чтобы утвердить свой политическій успѣхъ. Въ этомъ отношеніи вѣрнѣйшимъ дѣломъ было — заложить въ самомъ ученіи средства полнаго оправданія всякой власти и вмѣстѣ низверженія ея. Отсюда кальвинизмъ могъ бросать свободно одну опору и брать за другую, утверждать теократическое начало централизаціи и ниспровергать его, какъ только оно измѣнило его интересамъ. Вотъ мотивы, которые мы встрѣтимъ сейчасъ у Кальвина и которыми объяснятся характеръ политическихъ писателей, выросшихъ на почвѣ послѣдующаго движенія кальвинизма во Франціи и Англии.

Кальвинизмъ — самый совершенный, тягучій и широкій изъ всѣхъ мистическихъ ученій, всегда одинаково готовый въ услугу всѣмъ политическимъ расчетамъ.

Установленіе общественнаго фатализма начинается у Каль-

вина приблизительно такъ, какъ и Лютера, отдѣленіемъ свѣтскихъ отношеній отъ области религіи, свободы евангельской отъ свободы свѣтской.

Кальвинъ учить не смѣшивать царства Христова съ свѣтскими условіями, и утверждаетъ, что „духовная свобода очень хорошо можетъ быть согласена съ гражданскимъ рабствомъ. „Цѣль гражданскихъ условій сдѣлать нашу жизнь согласною съ требованіями общества людей, на то время, которое мы обязаны прожить здѣсь съ ними, подчинить наши нравы гражданскому суду, согласить насъ другъ съ другомъ, соблюсти общій миръ и спокойствіе.... Если такова воля Господа, что мы должны скитаться здѣсь раньше, чѣмъ достигнемъ нашего настоящаго убѣжища; если такія вспомогательныя средства необходимы для нашего странствованія, то тѣ, которые хотятъ избавить отъ нихъ человѣка, отрицаютъ его человѣческую природу.... Власть столь же необходима человѣку, какъ хлѣбъ, вода, свѣтъ и воздухъ. Но это одно только вступленіе, дань свѣтскому порядку, изъ-за котораго сейчасъ выступаютъ другія тенденціи. Значеніе власти не ограничивается одними свѣтскими отношеніями. Государство имѣетъ религіозное назначеніе; оно должно наблюдать, чтобы не было здѣсь мѣста идолопоклонству, хулѣ противъ Бога и его ученія и другимъ религіознымъ условіямъ. Я оправдываю гражданскую мѣру, ограждающую истинное ученіе, заключающееся въ словѣ Божіемъ, отъ публичнаго нарушенія и уничтоженія безнаказанной распущенностію.

„Власти и главы государства суть избранники Божіи, они имъ уполномочены и представляютъ его лицо... Цари и начальники получаютъ свою власть на землѣ вовсе не по волѣ людей, но по волѣ Провидѣнія, которое заблагоразсудитъ устроить такъ или иначе людскія дѣла. Сколько бы ни было различныхъ властей, въ этомъ отношеніи онѣ всѣ одинаковы, ибо апостолъ Павелъ разумѣлъ всѣхъ ихъ безъ различія, говоря: что нѣтъ власти еще не отъ Бога.“

Выше же всего Кальвинъ ставитъ власть царей. „Писаніе именно утверждаетъ (говоритъ онъ), что если цари царствуютъ, то это дѣлается провидѣніемъ божественной мудрости,“ и положительно приказываетъ чтить царей.

„Власти суть министры Божіи, назначенные служить его гнѣву и мстить тѣмъ, которые творятъ зло.... И конечно, Моисей и Давидъ, исполняя месть, порученную имъ Богомъ, освятили тѣмъ свои руки, которыя бы они осквернили прощая.... Тотъ, кто оправдываетъ нечестиваго и казнить справедливаго, одинаково противенъ Богу. — Возмущающійся навлекаетъ на себя гнѣвъ, и ему посылается приговоръ смерти. Народы проклинаятъ также того, кто говоритъ нечестивому: ты справедливъ. Если такимъ образомъ истинная справедливость, состоитъ въ преслѣдованіи злодѣевъ, то тѣ, которые воздерживаются отъ всякой строгости и хотятъ соблюсти свои руки въ чистотѣ отъ кровопролитія, въ то время, какъ злые даютъ свободу своему оружію, творятъ убійства и насилія, — совершаютъ большую несправедливость, не смотря на то, что ихъ могутъ хвалить за доброту и милосердіе. При этомъ, конечно, разумѣется, прибавляетъ Кальвинъ, чтобы строгость не была смѣшна съ жестокостью, и сѣдалище судьи не было превращено въ готовую висѣлицу.“ — Но всего этого еще недостаточно Кальвину. Для него нечего доказывать, что дурной царь есть посланникъ гнѣва Божія на землѣ, потому что это ему кажется признаннымъ всѣми. „Утверждая это, мы скажемъ о немъ столько же, сколько о всѣхъ другихъ карателяхъ и врагахъ. Намъ нужно болѣе настаивать на доказательствѣ того, что не такъ легко входить въ понятія людей, а именно, что въ человѣкѣ достигшемъ власти, какова бы ни была его жизнь, заключается тоже достоинство и могущество, вѣренное словомъ Божіимъ своимъ посланникамъ суда, и что поданные обязаны ему повиноваться и уважать его, какъ уважали бы добраго короля, еслибъ у нихъ былъ такой.“

Это одна сторона ученія Кальвина, направленная къ свѣтской власти, на которую онъ рассчитывалъ. Мы сейчасъ увидимъ другую,

Уже здѣсь, не смотря на всю видимую защиту свѣтскаго порядка, слышится общая тема, ради которой дѣлается эта защита. Власть не просто власть, предназначенная управлять общежитіемъ среди временной жизни,—это защитница ученія кальвинистовъ и посланница небеснаго гѣва. Мы увидимъ сейчасъ, какъ подъ вліяніемъ теокралическаго характера эта власть будетъ настолько же унижена въ сущности, насколько она была только-что поднята. Послѣднимъ заключительнымъ положеніемъ изъ всего опредѣленнаго выше выходитъ у Кальвина: обязанность повиновенія законамъ той страны, гдѣ насъ родило Провидѣніе. Этимъ уже сказано много, и данъ выходъ во всѣ положенія. „Конечно, говоритъ Кальвинъ, это устроилось не противъ воли Провидѣнія, если различныя страны управляются различнымъ образомъ.“ Онъ идетъ далѣе, дѣлаетъ выборъ между различными формами управленія и останавливается на аристократическомъ порядкѣ, говоря, что лучшее состояніе управленія ему кажется то, гдѣ существуетъ ограниченная свобода. Здѣсь уже народъ у Кальвина имѣетъ нѣкоторыя права избранія. Еще не много, и Кальвинъ докажетъ намъ измѣнчивость закона, требуя только, чтобы онъ былъ согласенъ среди этихъ измѣненій съ верховнымъ закономъ Христа. „Какъ обряды, говоритъ онъ, были уничтожены церковной реформой, при чемъ основанія истинной вѣры остались неизблемы, точно такъ же названные судейскіе законы могутъ быть измѣняемы и уничтожаемы.... Если же это справедливо, въ чемъ я не сомнѣваюсь, то національностямъ предоставлена свобода устраивать для себя порядокъ, какой онѣ признаютъ лучшимъ, лишь бы онъ былъ согласенъ съ Писаніемъ.“

Далѣе, защищая достоинство дурныхъ властителей, онъ

тутъ же объявляетъ тираніей и грабежемъ излишніе налоги, которыми обременяють народы, и въ заключеніе главы о гражданскомъ управленіи высказываетъ ясно свою коренную мысль, противопоставляя фатализму всей теоріи повинненія — частное правило, которое убиваетъ всю систему предопредѣленія и развязываетъ совершенно руки, хитро, но только наглядно скованной волѣ.

„Но въ повинненіи, которому мы поучали (говорятъ онъ), не должно забывать одного исключенія, или, скорѣе, правила, которое должно быть соблюдаемо прежде всего. Именно, чтобы такое повинненіе не отвращало насъ отъ покорности Тому, волей котораго должны ограничиваться всѣ желанія царей, повелѣніямъ котораго должны быть подчинены всѣ ихъ приказанія, и все ихъ могущество унижено передъ его величіемъ. И говоря правду, сколь превратно было бы для того, чтобы угодить людямъ, навлекать на себя гнѣвъ, Того, ради чьей любви мы повинемся людямъ? Богъ есть поэтому царь царей, котораго должно слушаться прежде всего. Послѣ него, мы обязаны повинненіемъ людямъ, поставленнымъ надъ нами, но не иначе, какъ подъ такимъ условіемъ. Если же люди будутъ приказывать намъ чтонибудь противное ему, оно не должно имѣть для насъ никакой силы.“

Эти заключительныя слова служили исходнымъ пунктомъ всей политики кальвинистовъ и въ нихъ можно найти объясненіе всѣхъ политическихъ писателей, вышедшихъ изъ такой школы. Въ этихъ словахъ низпровергнута разомъ вся выстроенная теорія свѣтскаго фатализма и на развалинахъ ея вооружено знамя фанатизма.

Все ученіе Кальвина представляетъ, такимъ образомъ, кругъ, въ которомъ все признанно все оправдано и вмѣстѣ съ тѣмъ все уничтожено. Всѣ противорѣчія могутъ быть выстроены въ минуту, и находить свою опору въ словахъ самого учителя, и между тѣмъ всѣ они будутъ фиктивны; реальнымъ останется

одно,—это интересъ секты, въ жертву которому принесены всё средства. Это тотъ же маккиавелизмъ, направленный только не къ благосостоянію людей, а къ благосостоянію кальвинизма.

Здѣсь то же низпроверженіе нравственнаго дуализма, являющееся не только въ видѣ католическаго предопредѣленія, оправдывающаго все данное безразлично, — но то же низпроверженіе, которое ставятъ въ вину Маккиавелли, оправдывающее одинаково всё средства ради интересовъ секты.

Время не имѣло нравственной опоры; реформаторы не имѣли одинаково принциповъ и брались за все, какъ могли лучше. Лютеръ отвернулся отъ свѣта и не хотѣлъ его видѣть, ибо свѣтскій порядокъ противорѣчилъ собственно тому, чему училъ. Лютеръ въ религіи а Лютеръ не хотѣлъ столкнуться съ этимъ противорѣчіемъ. Кальвинъ предпочелъ открыто низложить всю нравственную сторону ученія, знамя котораго онъ несъ, чтобы дать дорогу политической его сторонѣ. Поэтому писатели, примкнувшіе къ Лютеру, оставались нравственными идеалистами; писатели школы Кальвина стали политиками, и здѣсь взялись за тѣ тенденціи, которыя нашлись подъ рукою.

Самъ Кальвинъ защищалъ власть, еще разсчитывая на Франциска I. Кальвинисты будутъ громить ту же власть, оставшись вѣрны какъ нельзя лучше, духу своего реформатора.

Мы не беремъ рѣшить, принадлежала ли собственно кальвинизму инициатива тѣхъ мыслей, которыя были высказаны его болѣе поздними адептами въ области права и политики. Съ одной стороны они были отчасти уже ранѣе выражены, какъ мы увидимъ, свѣтскими писателями и потомъ за нихъ брались одинаково всё боевыя партіи—и гугеноты и Лига; съ другой, — общее радикальное направленіе, которое сказалось теперь въ французской и англійской литературѣ, было одинаково вызвано крайностію политическаго порядка вещей.

Преслѣдуя нашу мысль, прежде нежели говорить о писа-

теляхъ; принадлежащихъ прямо школѣ Кальвина, мы остановимся на чисто свѣтскихъ писателяхъ, имъ предшествовавшихъ, въ смутное время реформаціи.

Успѣхъ реальной мысли въ области права до реформаціи, если мы припомнимъ, былъ вызванъ соприкосновеніемъ чисто практическихъ мыслителей, съ плодами порядка общей конкуренціи, работавшей надъ общественной жизнью Европы за всѣ средніе вѣка. Мы видѣли, что противоидія этимъ послѣдствіямъ средневѣковаго порядка большая часть умовъ искала, съ одной стороны, въ національной централизаціи (писатели французскаго *l'ers-etat* и Маккиавели); съ другой, — въ общественныхъ отношеніяхъ (Томасъ Моръ). Двѣ стороны нравственнаго вопроса были одинаково затронуты: сторона социальная и политическая. Мы встрѣтимся отчасти съ обѣими во второй половинѣ столѣтія. Но первая изъ нихъ ступевывалась за послѣднею; настоящее поле общественной науки въ XVI вѣкѣ принадлежитъ политикамъ.

Здѣсь мы видѣли на французской почвѣ направленіе завѣщанное преданіемъ средневѣковыхъ легистовъ, воспитывавшее въ политикѣ мѣщанскую монополію средняго состоянія. Это направленіе мы встрѣтимъ прежде всего, и теперь; но рядомъ съ нимъ, мы увидимъ политиковъ другаго строя, къ которымъ одинаково примынутъ и кальвинисты и Лига.

У Мишеля Лопитала мы встрѣчаемся съ тѣми же тенденціями, какія видѣли уже у Филиппа де Комминъ. Но вся жизнь этого человѣка будетъ уже какъ бы свидѣтельствомъ безнадёжности старой системы въ виду обстоятельствъ. У Лопитала пока мы видимъ то же опредѣленіе назначенія свѣтской власти, ту же защиту системы представительства, какъ ограниченія этой власти, то же практическое стремленіе въ наукѣ и мысляхъ, и только немного болѣе доктрины и генерализаціи. Лопиталь канцлеръ — онъ также, какъ всѣ реалисты, съ которыми мы встрѣчались до сихъ поръ, всю жизнь дѣй-

ствуешь и борется, — борется въ тяжелую эпоху взрыва мистическихъ тенденцій, вмѣшательства въ политику постороннихъ стремленій, которыя возмущаютъ весь строй жизни; опутываютъ отношенія, деморализуютъ дворъ, и ставятъ сектаторскій интересъ, на мѣсто стремленія къ благосостоянію, которое Лопиталь считаетъ существенной задачей политики.

Въ борьбѣ съ такими невзгодами истощается его дѣятельность. Напрасно онъ хочетъ умѣрить волненіе, убѣждая къ вѣротерпимости; напрасно думаетъ и ищетъ реформъ, согласныхъ съ буржуазной свободой, какъ онъ ее понимаетъ. Онъ не предупредить ничего, — отъ его убѣжденій отвернется одинаково и централизація и буржуазія, и убѣжденія его не перейдутъ въ практику. Вареломеевская ночь сотретъ лучшія головы Франціи и самъ Лопиталь умретъ, измученный напрасной борьбой и тяжелой скорбью.

Среди всей этой борьбы Лопиталь — представитель терпимости. Въ рѣчи, которою онъ открывалъ собраніе штатовъ въ Орлеанѣ, 1560 года, онъ говорилъ: „ножь можетъ мало противъ духа. Мягкія мѣры лучше жестокихъ. Снимемъ эти дьявольскіе слова партій лютеранъ, гугенотовъ, папистовъ; оставимъ названіе христіанъ.“

Въ этихъ словахъ онъ ясно остается вѣренъ своему свѣтскому дѣлу и чуждъ всякихъ постороннихъ стремленій, которыя волнуютъ совѣсти. Политическія понятія его остаются трезвы отъ всякаго вліянія реформаціи.

Мы встрѣчаемся съ ними въ той же рѣчи Лопитала. „Нѣкоторые сомнѣваются (говоритъ онъ), въ томъ полезно ли королямъ собирать штаты, говоря, что король этимъ уменьшаетъ свою власть, и что совѣтуясь съ мнѣніями своихъ подданныхъ, онъ слишкомъ сближается съ ними, а отсюда происходитъ презрѣніе и уничтоженіе королевскаго величества. Такое мнѣніе мнѣ кажется неосновательно: во-первыхъ, я утверждаю, что нѣтъ поступка достойнѣе короля, какъ давать аудіенцію своимъ под-

даннымъ и отдавать правду каждому. Короли избраны первоначально для того, чтобы творить судъ; что же касается сближенія короля съ народомъ, то оно никогда не вредило королямъ Франціи; ибо нигдѣ нѣтъ такого повиновенія подданныхъ, какъ у насъ. Сосѣднимъ правителямъ служить на колѣняхъ и съ открытыми головами, но больше ли они находятъ повиновенія? Нужно опускать глаза передъ великимъ властителемъ, какъ дѣлалось когда-то передъ персидскими царями; но будетъ ли онъ отъ этого болѣе любимъ подданными?“

Въ общихъ чертахъ это убѣжденіе Филиппа де Коммина выражаетъ общій взглядъ средняго состоянія; и въ этомъ отношеніи Лопиталь не высказываетъ ничего новаго. Въ частныхъ вопросахъ онъ ведетъ далѣе дѣло Коммина и средняго состоянія, поддерживая послѣднее въ его реформахъ. Периодическое собраніе штатовъ, защита крестьянъ отъ налоговъ и произвола дворянства, протестъ противъ мысли о правѣ собственности короны на всѣ имѣнія подданныхъ и противъ злоупотребленій духовенства, ограниченіе имущественныхъ правъ этого сословія и отобраніе его имѣній въ казну, уничтоженіе продажности должностей и ихъ кумулированія въ однѣхъ рукахъ, уничтоженіе частно-владѣльческаго суда, судебныхъ привилегій, единство законодательства, — вотъ мотивы, къ которымъ стремятся требованія средняго сословія и за которыя стоитъ также Лопиталь.

Безпорядочность суда обращаетъ его особенное вниманіе, и онъ пишетъ трактатъ о преобразованіи юстиціи. Въ практической части его онъ вооружается преимущественно противъ размноженія тяжбъ и судебныхъ чиновниковъ — и указываетъ необходимость уничтоженія продажности должностей какъ единовременную надежную мѣру противъ такого зла.

Но тутъ же Лопиталь пробуетъ стать философомъ, приносить слово естественнаго права; доказываетъ, что оно должно быть одно какъ для дикихъ Америки, такъ и для христіанъ Европы; что разность положительныхъ законовъ про-

истекаетъ отъ особенныхъ условій времени и мѣста; что всѣми установленіями должна руководить одна и та же разумность. „Всякая сила имѣетъ смыслъ, только когда она служитъ орудіемъ разумной цѣли.

„Не можетъ быть двухъ нравственныхъ законовъ: одного частнаго, другаго публичнаго. Частная нравственность должна служить основаніемъ и политикѣ“.

Все это болѣе интересно, какъ набожное желаніе, какъ вѣрованіе, чѣмъ какъ основаніе нравственной теоріи. Оно интересно въ устахъ Лопитала, какъ признакъ цѣльной практической природы, не отравившейся сомнѣніями и скептицизмомъ, которыми кажутся болѣе или менѣе переполнены всѣ совѣсти времени. Среди общаго лихорадочнаго состоянія умовъ, отрицанія нравственнаго дуализма съ одной стороны въ теоріи Макиавелли, въ религіи Кальвиномъ и на практикѣ всей политической жизни, и тайнаго сознанія въ невозможности примирить его съ жизнью у Лютера, — одинъ Лопиталь равнодушенъ къ догматамъ, сохраняетъ въ сердцѣ прямоту вѣры въ нравственную сторону общаго ученія, которая проглядываетъ у него во всей системѣ. Онъ одинъ, кажется, поэтому, между всѣми имѣетъ убѣжденія. Это его особенность. Въ общемъ Лопиталь служитъ вѣрнымъ свидѣтелемъ того направленія, которое мы видѣли въ политическихъ понятіяхъ Франціи въ началѣ столѣтія. Но понятіе формальной свободы, заложенное въ основаніе всей исторической роли средняго состоянія, было далеко не ограничено только тѣми требованіями, за которыя стояло пока tiers-etat и его писатели. Оно давало болѣе простора и смѣлости мысли въ томъ же направленіи, разъ получивши толчокъ. Если не отъ людей, политическія убѣжденія которыхъ должны были опредѣляться ихъ политической ролью, то нужно было ждать болѣе крайняго развитія того же начала отъ писателей, которые, не вглядываясь такъ близко въ насущныя препятствія, требовали болѣе рѣзкой послѣдовательности въ томъ же направле-

ни. Нужно было ждать только обстоятельствъ, которыя бы къ ней вызвали.

Въ этомъ отношеніи трудно себѣ представить что нибудь болѣе возбуждающее для литературы—съ которой мы должны встрѣтиться—того порядка, который начинается въ исторіи Франціи съ появленіемъ на сцену Катерины Медичисъ, съ казнями противъ гугенотовъ и борьбой партій, которая длится здѣсь до конца столѣтія. Власть, въ которой видѣли гарантію народной свободы и поддерживали всѣми мѣрами политическіе мыслители, о которыхъ мы говорили выше, роняла себя теперь все болѣе и болѣе и наконецъ въ Варфоломеевскую ночь скосила цвѣтъ французскаго общества. Въ борьбѣ съ такимъ поворотомъ дѣлъ истощился Лопиталь. Старая теорія его не смогла ничего противъ ряда такихъ царствованій, какія начинаются Генрихомъ II, смѣшанныхъ съ правительствомъ честолюбивой итальянки и Гизами.

Интриги и звѣрство двора, гоненіе гугенотовъ и повальные казни, среди которыхъ Франція должна была пить стыдъ, какъ воду, по выраженію одного историка, — вотъ что видятъ теперь всѣ кругомъ себя. — Подъ вліяніемъ такихъ то возмущающихъ условій, обрушившихся на положеніе народа, 16-лѣтній юноша Лабозти начинаетъ рядъ писателей другаго направленія.

Книга Лабозти *Le contr'un ou discours de la servitude volontaire*—написана въ 1549 году, хотя и вышла въ печати позже. До этого она ходила въ рукописи и имѣла огромный успѣхъ; протестантизмъ ее принялъ съ восторгомъ. Интересна она собственно потому, что служила началомъ цѣлому ряду твореній, написанныхъ въ одинаковомъ съ ней духѣ; но зрѣлаго въ ней въ сущности мало. Все, что Лабозти говоритъ о равенствѣ людей,—очень краснорѣчиво; но тамъ, гдѣ онъ входитъ въ политику и судитъ о практическомъ примѣненіи сво ихъ идей, тамъ онъ становится блѣденъ. „Если есть что

нибудь ясное, въ чемъ нельзя сомнѣваться, говоритъ онъ, — то это конечно то, что природа создала насъ всѣхъ по одной и той же формѣ для того, чтобы мы считали другъ друга товарищами или даже братьями, и если распредѣляя свои блага, она не одинаково надѣлила всѣхъ красотою, умомъ или силой, то это конечно для того, чтобы заставить ихъ нуждаться и помогать другъ другу по братской привязанности. Поэтому, если эта добрая мать дала намъ общую землю для жительства и создала насъ изъ одного вещества для того, чтобы мы могли какъ бы узнавать себя другъ въ другъ; если она дала намъ даръ слова для того, чтобы сблизить насъ еще болѣе чрезъ взаимную передачу мыслей; если она всѣми силами старалась укрѣпить нашу связь; если она показала во всемъ желаніе не столько нашего разнообразія, сколько нашего единства, то нѣтъ сомнѣнія, что мы всѣ одинаково свободны, будучи всѣ товарищами, и не можетъ войти ни въ чью голову, что природа насъ создала для взаимнаго рабства, создавъ насъ всѣхъ для взаимнаго товарищества“.

Въ видахъ такого равенства, Лабюэти разсматриваетъ всѣ формы правленій, и для осуществленія своихъ понятій находитъ достаточнымъ слѣдующее: *Il n'est point besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soif, mais qu'il ne se mette pas en peine de faire rien contre soif*, и т. д.

Теорія эта можетъ быть довольно остроумна. Но насколько примѣненіе ея возможно въ самой жизни объ этомъ можетъ судить самъ читатель.

Лабюэти, писавшій эти строки, умеръ 14-ть лѣтъ спустя, въ болѣе спокойныхъ чувствахъ, совѣтникомъ парламента въ Бордо. По словамъ Монтеня, не было гражданина, лучше склоннаго къ общественному спокойствію и болѣе нерасположеннаго къ безпокойствамъ, зоторыя наполняли его время. Но за книгой Лабюэти слѣдовалъ рядъ либеллъ, зависимость которыхъ отъ обстоятельствъ времени еще болѣе ясна. Кардиналь де-Лоренъ

и Катерина Медичисъ. эти двѣ передовыя личности современной французской политики, характеръ которыхъ слишкомъ извѣстенъ, чтобы надъ ними здѣсь останавливаться, — были явными цѣлями, противъ которыхъ направлялся протестъ радикаловъ. Противъ перваго была написана *Le Tugan*, книга, полная кровавой ненависти къ кардиналу; противъ второй — *Discours merveilleux sur la vie, les actions et deportemens de la reine Caterine de Medicis*. Противъ всего дома Медичисовъ — *Les tragiques*, Агриппы д'Обилье, — рядъ сатиръ, которые могутъ быть названы проклятиемъ послѣднихъ Валуа. *Confession de Souci et du baron de Foeneste*. Наконецъ мемуары Монлюка и Конде. Все это болѣе интересно для насъ по самому направленію, чѣмъ по внутреннему достоинству; останавливаться поэтому надъ сочиненіями этого рода мы не считаемъ здѣсь нужнымъ, — намъ хотѣлось пока указать только начало сочиненій въ подобномъ духѣ на свѣтской почвѣ и связь ихъ съ положеніемъ вещей.

Самъ протестантизмъ во Франціи сначала былъ очень насивенъ не только до Кальвина, но и послѣ начала его проповѣди. Это было движеніе мирное и чисто народное, какъ извѣстно, принадлежавшее болѣе всего книгопечатанію; толкъ установился только съ Кальвиномъ; раньше, работники читали Библию, объясняли ее другъ другу, пѣли псалмы по праздничнымъ днямъ и въ свободные часы. Занятіе это замѣняло быстро, по историческимъ извѣстіямъ, пьянство и грубыя игры. Таково было первое послѣдствіе здѣсь начинавшейся реформаціи. Нужно было католическое духовенство, начинавшее терять кредитъ въ народѣ и стойкость своихъ политическихъ и имущественныхъ правъ у престола, чтобы разжечь такое явленіе въ кровавую драму. Самый дворъ смотрѣлъ сначала довольно равнодушно на реформацію; но нужно было здѣсь оказаться партиямъ, которыя сдѣлали изъ совѣстей вопросъ своего политическаго успѣха. Не смотря на все это, протестанты сорокъ лѣтъ

сряду позволяли себя только жечь и закапывать живьемъ въ землю;—ихъ стойкость была чисто пассивна. Самъ Кальвинъ, разсылая изъ Женевы учениковъ, пока не проповѣдывалъ другой. Кальвинисты взяли за оружіе только послѣ. Самъ Кальвинъ наконецъ одичалъ и сдѣлался жестокъ. Литературный же гнѣвъ кальвинистовъ сказался здѣсь только послѣ Варезоломеевской ночи 1567 г. Былъ силлогизмъ, съ которымъ сначала никакъ не могли справиться протестанты: „если вы христіане, вы должны безпрекословно повиноваться, терпѣть и гибнуть“. И Кальвинъ также опускаетъ голову и говоритъ: „да, будемъ сопротивляться духомъ, спасемъ душу и бросимъ тѣло“. Послѣ онъ самъ освирѣпѣлъ и кончилъ казнь Серве.

Нужно было Ноксу восемь лѣтъ провести на галерахъ и потомъ съ рубцами плетей на спинѣ и оковъ на конечностяхъ слушать и принять проповѣдь Кальвина, чтобы понять, много ли можно сдѣлать съ такимъ оружіемъ, и разомъ истолковать кальвинизмъ—иначе разбивъ роковую дилемму.

„Если вы отдаете себя тиранамъ, отдадите развѣ вы также ребенка, женщину, всѣхъ слабыхъ, которые въ этихъ жестокихъ испытаніяхъ могутъ отречься отъ вѣры? Вы отдаете міръ палачамъ, которые будутъ продолжать убійство до послѣдняго христіанина, пока вѣрующіе и вѣрованіе исчезнутъ со всѣмъ съ лица земли. Это развѣ послѣдняя побѣда, которую должна одержать религія? Развѣ цѣль, законный конецъ христіанства—это искорененіе самаго христіанства?“

Извѣстенъ разговоръ Нокса съ Маріей Стюартъ, который рассказываетъ Минье.

Королева, утвердивъ право протестантизма, не смотря на все свое отвращеніе къ нему, — хотѣла видѣть Нокса. Она упрекала его въ возбужденіи народа противъ власти и убѣждала быть снисходительнѣе къ тѣмъ, которые не раздѣляютъ его религиозныхъ вѣрованій. „Если отвергать идолопоклонство, отвѣчалъ Ноксъ, и склонять народъ къ почитанію Бога со-

*

гласно писанію, разсматривается, какъ возбужденіе подданныхъ противъ царей, я не могу быть оправданъ, потому что я это дѣлалъ. Но если познаніе Бога и его настоящаго служенія ведетъ всѣхъ добрыхъ подданныхъ къ повиновенію властителямъ отъ добраго сердца,—кто можетъ меня упрекнуть?“ Онъ продолжалъ, завѣряя, что будетъ жить довольный подъ властію королевы, пока не будетъ проливаться кровь святыхъ, но утверждая, что въ дѣлахъ вѣры подданные обязаны повиноваться заповѣдямъ Создателя. „Еслибъ всѣ люди временъ апостоловъ“, прибавилъ онъ, „были бы принуждены слѣдовать вѣрованіямъ императоровъ,— что стало бы съ христіанствомъ?“ — „Но эти люди не сопротивлялись“, отвѣчала Марія: „не сопротивлялись вооруженной рукой“?— „Это потому“, возразилъ Ноксъ: „что Богъ не далъ имъ на то ни средствъ, ни возможности“. Понятно, въ какомъ духѣ долженъ былъ кончиться разговоръ, начатый Ноксомъ съ такимъ фанатизмомъ. Все, что извѣстно,— это что Марія осталась недовольна Ноксомъ.

Подъ вліяніемъ протестанской пропаганды мы встрѣчаемъ тутъ же на великобританской почвѣ сочиненія, гдѣ политическія убѣжденія реформаціоннаго времени высказываются еще яснѣе, чѣмъ у Нокса. Подъ 1557 г. мы встрѣчаемъ трактатъ о политической власти Ивана Пойне, епископа винчестерскаго при Эдуардѣ VI.

Пойне ставитъ въ своемъ трактатѣ рядъ вопросовъ, которые показываютъ намъ, какіе мотивы тревожатъ умы:

- 1) Какое начало политической власти; зачѣмъ она установлена и каково ее настоящее употребленіе и обязанность.
- 2) Имѣютъ ли англійскіе князья безусловныя права надъ своими подданными, и т. д.

По этимъ вопросамъ можно уже приблизительно судить о духѣ самыхъ отвѣтовъ.

Къ тому же времени относится другое сочиненіе *De jure regni apud Scotos*, Георга Буканана.

Букананъ идетъ дальше, чѣмъ Пойне; тѣ же политическія понятія онъ формируетъ въ юридическій силлогизмъ, даетъ понятіямъ кальвинистовъ діалектическую опору, и вмѣстѣ съ тѣмъ кладетъ начало теоріи, которая считается обыкновенно продуктомъ идеалистовъ XVII вѣка, но которая какъ мы убѣдились сейчасъ, принадлежитъ вполне протестантскому реализму кальвинистовъ.

Между королею и народомъ въ Англіи существуетъ синагаматическій договоръ, утверждаетъ Букананъ; первый, кто нарушаетъ этотъ договоръ и поступаетъ противно принятымъ обязательствамъ, разрушаетъ его.

Во Франціи протестанты начинаютъ свою радикальную проповѣдь въ политикѣ вслѣдъ за Варолюмеевской ночью. Мы назовемъ здѣсь только два самыя замѣчательныя явленія въ этомъ родѣ: это *Franco-Galia* — Готмана и *Vindictae contra Turanos* — Юбера Ланге.

Готманъ останавливается надъ тѣми же политическими вопросами, съ которыми мы встрѣчались до сихъ поръ, отчасти у всѣхъ французскихъ политиковъ, отъ Коммина до Лабозти и англійскихъ протестантовъ. Онъ хочетъ исторически доказать избирательное начало власти князей въ древней Германіи и на этомъ основаніи установить права народа по отношенію къ князьямъ.

Откуда верховная власть въ послѣдней инстанціи принадлежала *ad universitatem civium vel nobilium*. На этомъ послѣднемъ словѣ сосредоточиваются всѣ политическія мечты Готмана. Онъ въ восторгѣ отъ Англіи, и аристократическое конституціонное правленіе составляетъ его идеаль въ политикѣ. Ограничивая власть князей онъ утверждаетъ, что между послѣдними и народомъ нуженъ элементъ умѣряющій; этотъ-то элементъ и составляетъ аристократія. О среднемъ состояніи онъ относится неблагоклонно, называя его узурпаторомъ власти. Такимъ образомъ весь планъ политическаго правленія у Гот-

мана слагается изъ трехъ извѣстныхъ элементовъ, между которыми дается преимущество аристократическому.

Всю эту аристократическую избирательную теорію по твердости убѣжденій, которая даетъ чувствовать авторъ въ своей книгѣ, можно было бы принять за систему, независимую отъ всякихъ частныхъ цѣлей, имѣющую въ виду одну только истину вопроса, которымъ она занята. Обманъ и разочарованіе. Готманъ не столько держится выраженныхъ началъ аристократическихъ, сколько и всякихъ другихъ, разъ онѣ могутъ быть полезны кальвинизму. *Franco Galia* была написана противъ наследственныхъ правъ Генриха III, и здѣсь Готманъ опровергалъ всѣ основанія наследственности. Черезъ нѣсколько лѣтъ, когда наследникомъ будетъ Генрихъ IV, Готманъ пишетъ: *Le droit du neveu sur l'oncle (Card. de Bourbon)*, гдѣ доказываетъ всѣ выгоды и основательность наследственности трона.

Книга Ланге мало отличается отъ *Franco-Galia*. Здѣсь то же аристократическое начало, какъ и тамъ, направленное въ ущербъ верховной власти, и только ученіе о послѣдней доведено до болѣе кальвиническихъ результатовъ. То же аристократическое начало, какъ умѣряющее власть князей, поддерживаютъ и другія либеллы, принадлежащія къ этой серіи: „*Du droit des magistrats sur leur sujets* и *Discours politiques des divers puissances établies par Dieu au monde*. Принципъ монархической власти при этомъ не уничтожается, напротивъ, — онъ признается открыто. Послѣднее сочиненіе говоритъ, наприимѣръ, прямо, „что власть, составленная изъ короля и лучшихъ или достаточныхъ, полезна, а всякая другая — вредна“. Нужно только, чтобы король не вредилъ кальвинизму, и вотъ почему только направленъ противъ него весь споръ. Но на чемъ основанъ на самомъ дѣлѣ отпоръ монархическому началу? Французскіе кальвинисты ищутъ кругомъ, и видятъ три дѣятельные элемента въ политическомъ строѣ современной Франціи: союзъ средняго состоянія и короля съ одной стороны, и

съ другой—подавленную этимъ союзомъ аристократію. Народъ собственно удаленъ совершенно отъ политическаго дѣла, — его роль пассивная. Вотъ почему, ратуя противъ короля, французскіе кальвинисты одинаково холодно смотрятъ на буржуазію. Они видятъ одинъ общественный элементъ, который подавленъ одинаково съ ними, — аристократическій; рассчитываютъ, что личныя выгоды могутъ заставить этотъ элементъ соединиться съ дѣломъ протестантизма для дружнаго спора съ королевскою властью, — и вотъ почему они льстятъ аристократіи и проповѣдуютъ ея власть въ теоріи, и почему пишутъ громовыя либеллы противъ королей, въ заключеніе которыхъ назовемъ: „Les apophtegmes et discours notables, recueillis de divers auteurs, contre la tyrannie et les tirans, в la France Turquie“, гдѣ правительство Валуа сравнивается съ Турціей.

Коренная тенденція французскихъ кальвинистовъ-радикаловъ высказывается всего яснѣе въ книгѣ „du droit des magistrats.“ Главная обязанность всякаго начальника — употреблять всѣ мѣры для того, чтобы Богъ здѣсь былъ признанъ, и чтобы ему служили, какъ царю царей... Причина та, что настоящая цѣль благоустроеннаго управления не есть спокойствіе внѣшней жизни, какъ думаютъ нѣкоторые языческіе философы, но слава Божія, къ которой должна стремиться вся земная жизнь. Переведенныя на простой языкъ, эти слова выражаютъ ничто иное, какъ интересъ секты.

Съ тѣмъ же рѣшительнымъ характеромъ является радикальное направленіе и у публицистовъ Лиги. Буше „De juste Henrici tertii abdicatione“ и Гильомъ де-Розъ „De juste reipublicae christine in reges impios auctoritate.“ Лучшія либеллы этого разряда повторяли тѣ же политическіе уроки кальвинистовъ, направляя ихъ въ пользу католической партіи и формулируя самыя теоріи, примѣняясь къ началамъ папской власти, — но это различіе не важно.

Что же мы должны сказать теперь въ суммѣ о реформа-

ціи вообще нѣмецкой и реформаціи кальвинистовъ, и о политической литературѣ, вызванной ею?

Создала ли она свое ученіе въ политикѣ, и какіе результаты здѣсь оставила?

Трудно не видѣть, что она не пришла ни къ какому результату, ни къ какому политическому строю убѣжденій и, напротивъ, выразила положительное ихъ отсутствіе. вмѣсто ученія, она дала ихъ нѣсколько, и именно столько, сколько хотѣли реальные интересы отдѣльныхъ общественныхъ партій. Въ политикѣ она оправдывала все, и все ниспровергала, отъ политическаго абсолютизма до общенія жонъ. Ея мистическое знамя, мѣшаясь на каждомъ шагу, въ историческое дѣло являлось какъ будто для прикрытія только тѣхъ или другихъ реальныхъ интересовъ, тѣхъ или другихъ политическихъ мотивовъ, которые указывалъ реализмъ. Все оказалось шатко среди реформаціонной борьбы и выразило только общее отсутствіе убѣжденій, указывая вмѣстѣ съ тѣмъ настоящую силу, колеблющую всѣ теоріи и вѣрованія, въ тѣхъ матеріальныхъ подавленныхъ интересахъ, которые искали себѣ выхода при общей конкуренціи. Было бы странно, поэтому, искать, при такихъ условіяхъ, въ томъ или другомъ томѣ, или у того или другаго писателя вѣры въ безусловную истину своей теоріи. Можно найти справедливый протестъ, по праву вооружающееся чувство, но принципы, на которые опирались реформаторы были конечно только условнымъ оружіемъ, на которомъ шла борьба и которое мѣнялось по произволу. Самая полная картина макиавелизма разыгрывалась здѣсь на самомъ дѣлѣ, среди которой всякій думалъ отвоевать себѣ, или своей партіи, у стараго порядка лучшее положеніе, и вотъ въ какихъ видахъ приставалъ къ той или другой теоріи.

Это отсутствіе убѣжденій въ политикѣ, вынесенное обществомъ изъ реформаціи, было какъ мы видѣли уже, въ Германіи прямо засвидѣтельствовано Винклеромъ; подобныя же прамыя свидѣтельства мы не замедлимъ встрѣтить и во Франціи.

За такимъ-то индеферентизмомъ скрывается для насъ весь реальный профиль этой шумной борьбы, которая прикрывалась на первый взглядъ совершенно отвлеченными началами. Если Макиавелли ниспровергалъ схоластическое право, а Т. Моръ указывалъ настоящія условія общественной гармоніи, то реформація повторила на практикѣ, собственно говоря, то же равнодушіе къ старому, пытаясь пойти на практикѣ даже далѣе Т. Мора въ лицѣ анабаптистовъ; а какимъ знаменемъ она при этомъ прикрывалась, — это для нашего предмета, конечно, все равно.

ГЛАВА VII.

Последніе свидѣтели общаго разложенія политическихъ убѣжденій. — Макиавелли и Ботеро. — Жанъ Бодень и Монтень.

Теперь всё были правы: Тома Аквинать и Иоаннъ Лейденскій, папа, кальвинисты, Лига и анабаптисты, нѣмецкіе крестьяне и Лютеръ, — все было доказано, бѣлое и черное, и все опровергнуто. Что же должно было остаться на днѣ совѣстей? Цѣльная натура Лопитала съ грустью чувствовала деморализацію. „Quand cette neige sera fondue, il n'y aura plus que la boue.“ говорилъ онъ, указывая на свою сѣдую бороду. „Pour obtenir quelque honneur dans ce siecle, il faut machiaveliser;“ — съ такой же грустью писалъ Пакье. Оставался дѣйствительно одинъ реализмъ Макиавелли, имъ занимаются, объ немъ пишутъ и отпираются отъ него, — лучшее доказательство, что ему слѣдуютъ на самомъ дѣлѣ, если бы приведенныя слова Пакье не дѣлали излишнимъ всякое доказательство. Итальянецъ Ботеро (1589) даже пробуетъ разработывать его мысли, оправдываетъ вароломеевскую ночь и выска-

зываетъ, между прочимъ, гораздо ранѣ Мальтуса, что возрастаніе населенія имѣетъ свои границы въ матеріальныхъ условіяхъ жизни, которыя дѣлаютъ невозможнымъ воспитаніе и прокормленіе излишняго числа дѣтей, хотя Ботеро далеко не Макиавелли. Самосохраненіе, какъ единственная цѣль правительства, — вотъ весь смыслъ его книги, смыслъ тѣсный и односторонній. Макиавелли все-таки остается у него непонятнымъ, хотя онъ и слѣдуетъ ему. Онъ близокъ болѣе вышнему характеру теоріи своего учителя, откуда онъ оправдываетъ такую мѣру, которая врядъ ли встрѣтила бы сочувствіе Макиавелли уже потому, что она явно не достигла своей цѣли. Для насъ онъ интересенъ только, какъ свидѣтель извѣстнаго разлада въ нравственныхъ понятіяхъ.

Но Ботеро имѣетъ мало подражателей. Убѣжденія какъ будто бояться коснуться до дна своего собственного паденія, гдѣ они могутъ найти положительный результатъ и готовый залогъ болѣе твердой основы. Для нихъ легче, съ одной стороны, простое сомнѣніе, съ другой—силенъ страхъ разстаться съ старыми формами, и страхъ этотъ вызываетъ новыя усилія сковать разлагающееся, въ противность реализму Макиавелли и радикальности протестантскихъ писателей.

Представителями этого консервативнаго направленія были теперь: Фроманто, Пакье и Боденъ. Мы остановимся на последнемъ изъ нихъ, потому что, ратуя одинаково противъ протестантовъ и Макиавелли, виѣстѣ съ тѣмъ онъ полнѣе выражаетъ характеръ этого послѣдняго усилія удержатъ понятія при историческихъ формахъ. Боденъ самъ ясно высказываетъ въ своемъ предисловіи причины, которыя побуждаютъ его писать и тутъ же объявлять двойную войну реализму Макиавелли и протестантскимъ радикаламъ, будучи кальвинистомъ. „Nous avons pour exemple un Machiavel qui a eu la vogue entre les courtiers des tyrans, et lequel Paul J ve ayant mis au rang des hommes signalés, l'appelle, néanmoins ignorant des

bonnes lettres. Quand au savoir, je crois que ceux qui sont accoutumé de discourir doctement, peser sagement, et résoudre subtilement les hautes affaires d'Etat, acorderont qu'il n'a jamais sondé la science politique, qui ne gît pas en ruses tyranniques qu'il a cherchées par tous les coins d'Italie."

Таковъ его отзывъ о Макиавелли. Боденъ хочетъ доказать такимъ образомъ не только безнравственность макиавелизма, но и практическую ложность его политики: „le livre du prince où Mechiavel rehausse jusqu'au ciel et met pour un parangon de tous les rois le plus deloyal fils de prêtre qui fut oncques, lequel neanmoins, avec toutes ses finesses fut honteusement précipité de la roche haute et glissante ou il s'etoit niché, et enfin exposé comme un bellitre à la mersi de ses ennemis, comme il est arrivé depuis aux autres princes qui ont suivi sa piste et ont pratiqué les belles regles de Machiavel, le quel a mis pour deux fondemens des Republicques l'impiété et l'injustice."

Въ противность этому Боденъ хочетъ доказать, что настоящая политика должна быть основана на правилахъ строгой морали и справедливости. Рядомъ съ макиавелизмомъ онъ указываетъ тутъ же другой разрядъ политиковъ, противныхъ и враждебныхъ Макиавелли: „d'autres controires et droits ennemis ceux-ci qui... sous le voile de la liberté font rebeller les sujets contre leur princes naturels, ouvrant la porte à une licenciieuse anarchie qui est pire que la plus forte tyrannie du monde. Voila deux sortes d'hommes, заключаетъ онъ самъ, qui par ecrits moyens controires conspirent à la ruine des republicques, non pas tant par malice que par ignorance des affaires d'Etat, et que je me suis efforcé d'ecloircir en cette oeuvre."

Таковъ планъ и задача книги Бодена „la Republique," вышедшій у самаго начала Лиги, въ 1577 году.

Посмотримъ теперь насколько Боденъ выполняетъ свою задачу.

Перехода теперь въ самому содержанию его книги „*Repubblica*“, (государство), мы найдемъ здѣсь не столько прямое опроверженіе извѣстныхъ системъ, какое общаетъ по видимому Боденъ, сколько защиту своего собственнаго, предпринятаго плана. Со стороны содержанія, республика не болѣе какъ апологія мѣщанской монархіи легистовъ. Отстоять юридическое *statu quo* выработанной въ XVI вѣкѣ централизаціи, ограниченной неприкосновенностью частной собственности и слѣдовательно волей штатовъ относительно размѣра налоговъ, отстоять эту данную политическую форму, усиливъ пожалуй ригоризмъ отношеній въ частномъ быту въ видахъ ея большей прочности, какъ разумную и нормальную форму, — вотъ собственно куда должна придти вся полемика Бодена. Планъ системы данъ такимъ образомъ заранѣе; нужно только подыскивать доказательства. Весь трудъ представляется отсюда діалектическимъ упражненіемъ на историческую тему. Эту тему нужно защитить во что бы то ни стало, нужно дать ей опору въ совѣстяхъ, пораженныхъ сомнѣніемъ въ виду всѣхъ оскорбленій, которыя терпятъ идеаль *tiers etat*. Изъ такой предполозанности плана и смѣси разнородныхъ доказательствъ выходитъ, дѣйствительно, у Бодена шаткость всей системы.

Боденъ выводитъ политическую власть въ государствѣ или республикѣ, какъ онъ его называетъ, чисто отвлеченной юридической выкладкой. Онъ начинаетъ съ того, что отдѣляетъ верховную власть отъ правительства, дѣлая изъ первой отвлеченное тѣло, или предметъ совершенно независимый отъ лицъ, составляющихъ правленіе. Il est besoin de former la definition de souveraineté par ce qu'il n'y a ni jurisconsulte ni philosophe politique qui l'ai definie, jaçoit que cest le point principal et le plus necessaire du troité de la republique.

Верховная власть отдѣляется у Бодена отъ власти даже монархической неограниченной тѣмъ, что эта власть сама по себѣ безсрочна, тогда какъ простая монархическая, абсолютная власть можетъ быть временная, данная на опредѣленное время. „Or la souveraineté n'est limitée ni en puissance ni en charge ni a certain temps.... le peuple ne se dessaisit point, de la souveraineté quand il établit un ou plusieurs lieutenants avec puissance absolue a certain temps limité; ceux-ci demeurent comptables au peuples; ce qui n'est pas au prince souverain, qui n'est tenu rendre compte qu'a Dieu.“

Для власти, которую Боденъ называетъ *souveraineté*, на языкѣ положительныхъ законодательствъ нѣтъ даже названія. Мы по крайней мѣрѣ не можемъ представить себѣ никакой народной власти, которая не была бы опредѣлена временемъ и пространствомъ, и потому считаемъ возможнымъ говорить въ настоящемъ случаѣ о всякой власти только какъ о фактѣ очень опредѣленномъ и точною.

Это очень хорошо знаетъ самъ Боденъ, и потому отвлеченіе, которое онъ здѣсь дѣлаетъ, есть не болѣе какъ логическая уловка; для чего она нужна, мы сейчасъ увидимъ. Тайная мысль у Бодена слѣдующая: Il faut que ceux-la qui sont souverains ne soient aucunement sujets au comendement d'autrui, et qu'ils puissent donner lois au sujets, ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois ou à ceux qui ont comendement sur lui.“ — Далѣе: „la souveraineté ne peut se lier les mains. — Le souverain ne peut engager ses successeurs.—Le souverain n'est pas engagé par ses propres lois,“ что доказываетъ для Бодена изрѣченіе французскихъ королей „Car tel est notre bon plaisir.“

За тѣмъ при такихъ правахъ, власть обязана однако не пользоваться совершенно своимъ произволомъ, а слѣдовать законамъ божескимъ и естественнымъ. Этимъ дано уже первое ея ограниченіе — хотя чисто моральное. Сейчасъ явится и при-

дическое. Та же власть при всемъ своемъ произволѣ не имѣеть никакихъ правъ на имущества частныхъ лицъ, „*sauf le droit d'outrui*; забывая это, она дѣйствуетъ *non en vertu de sa souveraineté mais il vaut mieux dire par force et par armes, qui est le droit du plus fort.*

Теперь понятно, зачѣмъ Бодену нужно было такое отвѣченіе. Верховная власть и у него собственно выходить очень опредѣленна и ограничена; вся задача состояла въ томъ, чтобы сдѣлать это опредѣленіе совершенно произвольно, и для этого, конечно, нужно было сперва сдѣлать изъ власти пустую абстракцію, чтобы наполнить ее потомъ чѣмъ вздумается.

Далѣе если уже трудно было вывести прямо принадлежность такой власти французскому королю изъ нее самой, нужно было — послѣ того, что она была признана безсрочною, — признать, что она можетъ передаваться изъ рукъ въ руки, дариться и завѣщаться вполнѣ и разъ навсегда. „*Le peuple ou les seigneurs d'une republicque peuvent donner purement et simplement la puissance souveraine et perpetuelle à quelqu'un pour disposer des biens de l'Etat à son plaisir et puis le laisser à qui il voudra, tout ainsi que le propriétaire peut donner son bien purement et simplement sans autre cause que sa liberalité et c'est la vraie donation qui ne reçoit plus de condition, étant une fois parfaite et accomplie attendue que les autres donations qui portent charges et conditions ne sont pas vraies donations.*“

Иными словами это значило — примѣнять формы частнаго порядка, которыя пользовались кредитомъ, формы даренія, договора, завѣщанія и такъ далѣе къ государственнымъ вопросамъ. Но во-первыхъ, самый частный порядокъ былъ такимъ же политическимъ продуктомъ, и требовалъ доказательства; во-вторыхъ, формы его здѣсь даже были признаны справедливыми только при извѣстныхъ условіяхъ; такъ и здѣсь не все могло быть предметомъ собственности, дара или договора; власть на

вещи допускалась только подъ известными условіями, власть же на лица была еще болѣе ограничена. Договоръ или дареніе считались справедливы не потому, что они были дареніемъ или договоромъ, а потому что съ этимъ связывалась обстановка и условія, которыя дѣлали ихъ дозволенными. Отсюда примѣненіе этихъ формъ въ отвлеченномъ видѣ къ объясненію какихъ либо новыхъ отношеній, было явнымъ софизмомъ, логической уловкой, и несмотря на то, однако на эту уловку сбились всѣ, такъ называемыя, системы договора, процвѣтавшія въ XVII и XVIII вѣкахъ. Онѣ доказали ясно всю плодовитость подобныхъ отвлеченій въ общественныхъ вопросахъ. Послѣ того, что политика была такъ явно отдѣлена отъ права у Макиавелли, переносить сюда какія либо увлеченія было, кажется, непростительнымъ грѣхомъ неточности, а между тѣмъ два съ половиною вѣка потомъ политическіе мыслители повторяли одинъ за другимъ одну и ту же ошибку. Всякая отдѣльная сфера бытія имѣетъ свои особыя формы; дѣлать изъ нихъ отвлеченія, значитъ стирать ихъ, сводить въ одно или переносить формы одной сферы въ другую. Такимъ путемъ, конечно, нѣтъ ничего легче, какъ все доказывать; нѣмецкая наука это поняла очень хорошо, и наконецъ увидѣла въ государствѣ животь и ноги, и въ смертной казни безусловное добро, въ правѣ законы красоты, и все что хотите. Отъ начала отвлеченнаго формализма, которое позволялъ себѣ теперь Боденъ, до конца его, у живыхъ писателей настоящаго времени шла незамѣченною одна и та же исторія перенесенія формъ одной сферы въ другую черезъ посредство отвлеченій. Такъ въ настоящемъ случаѣ Боденъ бралъ изъ юридической сферы, въ видѣ отвлеченія, спорныя формы частнаго права, переносилъ ихъ въ политику, и здѣсь онѣ являлись уже въ видѣ обязательныхъ доказательствъ.

Вся политика такимъ пріемомъ могла быть сравнена съ частнымъ правомъ; но дѣло въ томъ, что такимъ образомъ

также легко было доказать законность наследственных личных обязательств, которые однако считались незаконными при всѣхъ условіяхъ договора, даже въ сферѣ частнаго права. что ясно показывало, на сколько формы частнаго права въ отвлеченномъ видѣ могли служить безусловными доказательствами.

Мы остановились надъ такими приемами Бодена потому, что онѣ пользовались вообще большимъ кредитомъ у писателей послѣдующаго времени. Собственно же примѣненіе, которое сдѣлалъ изъ нихъ Боденъ, было ниже всякой критики, и было слабо на первъ и взглядъ. Власть, объявленная безграничною со всѣхъ сторонъ, вдругъ получала свои преграды безъ всякой аргументаціи въ частномъ имущественномъ правѣ; взявшись первоначально неизвѣстно откуда, она передавалась по тѣмъ же частію имущественнымъ основаніямъ. Все это дѣлалось для того только, конечно, чтобы получить въ суммѣ опредѣленія французской королевской монархіи: „La monarchie royale ou legitime est celle ou les sujets obeissent aux lois du monarque, et le monarque aux lois de la nature, demeurant la liberte naturelle et propriete des biens aux sujets.“

Таковъ Боденъ, какъ философъ, или лучше такова у него этимологія понятія государства; посмотримъ теперь насколько онъ силенъ, какъ политикъ въ томъ же отношеніи.

Политика Бодена клонится къ той же цѣли, какъ и диалектика его, къ защитѣ интересовъ tiers-état. Разсматривая различныя формы правленій, онъ отдаетъ преимущество централизаціи, опирающейся на среднее состояніе. Но тутъ же, для самаго автора, эта форма оказывается не столь надежною, какъ можно было думать сначала, и Боденъ видимо готовъ склониться на всѣ мѣры, чтобы поддержать ея стойкость. Оно впрочемъ очень естественно: Боденъ писалъ въ то время, когда монархическая власть во Франціи, въ лицѣ послѣднихъ Валуа, дѣлала все, что могла, чтобы подорвать свою настоящую силу

и когда съ другой она подвергалась явнымъ потрясеніямъ со стороны реформаторовъ. Потаенный центръ, въ которомъ Боденъ ищетъ устроить залогъ вѣрности монархическаго начала — это семья. Семья для него составляетъ центральный нервъ политической жизни; изъ нее, какъ изъ начальной ячейки, вырастаетъ онъ всѣ политическія отношенія и къ ней-то направлены естественно его политическія виды. Иначе трудно объяснить, почему отстаивая частную собственность противъ королевской власти, вооружаясь противъ рабства, онъ обрушаетъ на эту часть общественной жизни весь риторизмъ ветхозавѣтныхъ отношеній, и ради Библии забываетъ здѣсь Евангеліе, какъ выражаются объ немъ по этому поводу самые его защитники. Право жизни и смерти родителей надъ дѣтьми и патриархальная дисциплина въ самомъ крайнемъ видѣ, — вотъ главный рычагъ, которымъ Боденъ думаетъ поддерживать политическія условія, которыхъ является защитникомъ.

Какъ бы ни были разнообразны законы, говоритъ онъ, никогда не было, ни закона ни обычая, который бы избавлялъ жену отъ послушанія и почтенія мужу, и какъ говорится у древнихъ, нѣтъ ничего болѣе необходимаго для сохраненія государствъ, какъ подчиненіе женъ мужьямъ... Поэтому законъ Божій и священное писаніе, давшее вещамъ названіе вѣрное ихъ природѣ и свойству, называетъ мужа господиномъ и т. д.

Власть отца семейства Боденъ характеризуетъ такъ: „le père est la vraie image du grand Dieu souverain père universel de toutes choses.“ Надъ современнымъ ему упадкомъ такой власти плачетъ Боденъ и постоянно утверждаетъ, что отецъ долженъ имѣть надъ дѣтьми право жизни и смерти. „Je dis donc qu'il est bien expedient que les princes et législateurs remettent sur les anciennes lois touchant la puissance des pères sur les enfants et qu'ils se reglent selon la loi de Dieu.

Возразять, продолжаетъ онъ, что встрѣчались такіе отцы,

которые употребляли свою власть во зло. Такъ; я утверждаю однако, что никогда мудрый законодатель не откажется принять хорошаго закона ради тѣхъ рѣдкихъ ошибокъ, къ которымъ онъ можетъ вести. И гдѣ же тотъ законъ, справедливый и естественный, который былъ изъятъ совершенно отъ такихъ ошибокъ? Тотъ, кто захотѣлъ бы отвергать законы на этомъ основаніи, уничтожилъ бы ихъ всѣ до одного.

Само собою разумѣется, послѣ этого, что дѣти не имѣютъ никакого права на наслѣдство, и что произволь завѣщателя есть естественное основаніе наслѣдственнаго права, которое признаетъ Боденъ.

И все это по словамъ самаго Бодена, признается вотъ изъ какихъ видовъ: „N'est-il impossible que la Republique soit b en fondée si les familles qui sont les pillers d'irelle sont mal fondées.“

Вотъ въ краткихъ словахъ коренной мотивъ политики Бодена. Семейство служитъ ступеню политическому строю; этотъ строй слабѣтъ;—чтобы укрѣпить его нужно внести, какъ можно болѣе, дисциплины и ригоризма въ семью. Не трудно видѣть, что, по устроеннымъ такимъ образомъ ступенямъ, европейская жизнь должна была ясно и неминуче, слѣдуя теоріи Бодена, спуститься къ азиатскому строю. Отношенія семейныя имущественныя, сословныя и государственныя, словомъ вся, совокупность такъ называемыхъ юридическихъ отношеній есть только рядъ политическихъ формъ, выливающихся изъ признаннаго начала экономической борьбы отдѣльныхъ интересовъ. Самыя простѣйшія изъ нихъ обуславливаютъ, безъ всякаго сомнѣнія, характеръ болѣе сложныхъ, и извѣстныхъ формы въ кровныхъ и имущественныхъ связяхъ отзываются своими особенностями и въ государственномъ строѣ. Но по этому-то самому семья, какъ чертиль ее Боденъ, не могла удовлетворить его сокровеннымъ требованіямъ. Она не могла ужиться съ представительной французской монархіей XVI вѣка, съ при-

*

наннымъ началомъ неприкосновенности частной собственности, и разъ принятая въ этой формѣ закономъ и правами, должна была пересоздать монархію легистовъ въ царство пашалыковъ. Боденъ не видѣлъ настоящаго источника ослабленія королевства и настоящихъ средствъ противоборства. Въмѣсто обновленія распадающагося, онъ хотѣлъ сковать его только, и потому, вся политическая система его являлась химерическимъ, болѣзненнымъ усиліемъ, которое не могло ни достичь своей цѣли, ни даже быть принято практикой.

Явленіе, противъ котораго ратовалъ Боденъ было между тѣмъ настоятельно, а самая задача, которая имъ ставилась передъ жизнью, очень интересна и поучительна. Политическія ошибки, которыми это явленіе было вызвано, и тѣже ошибки, при которыхъ королевская Франція продолжала вести свою внутреннюю политику, имѣли столь явственное вліяніе на ея позднѣйшую судьбу, что надъ ними стоитъ остановиться.

- Монархія была естественной, прямой формой, въ которую должно было перейти средневѣковое общество, та политическая форма, которою она могла избавиться только отъ феодальнаго порядка. Феодальное общество, выросшее на произволѣ конкуренціи, т. е. на началѣ крайне аристократическомъ, поглотившемъ всѣ человѣческіе интересы въ имущественномъ правѣ бароновъ, спаслось, дѣйствительно, черезъ монархію, въ передовыхъ своихъ національностяхъ. Монархическая власть низложила имущественное право феодаловъ, исторгла цѣлый рядъ отношеній административныхъ, судебныхъ и общественныхъ изъ рукъ аристократіи; она выдвинула цѣлый классъ средняго состоянія изъ подавленности, и этимъ окрѣпла. Прямая политика ея чертилась по своему началу очень явственно.

Кромѣ средняго состоянія, передъ ней было два сословія, которыя прямо ждали ея вліянія,—это духовенство и сельское населеніе: одно подавленное, другое слишкомъ крѣпкое еще фе-

одальными остатками. Продолжая свое дѣло униженія феодализма, она могла только послѣ средняго класса обратиться къ нуждамъ сельскаго населенія, улучшая его положеніе, нанести послѣдній уронъ свѣтскимъ правамъ духовенства и феодализму, и вмѣстѣ съ тѣмъ приобрести новую послѣднюю опору въ низшихъ классахъ. Дать земли низшему классу на счетъ феодаловъ, значило бы не только уронить феодализмъ, а заложить въ то же время въ общественной средѣ вѣрный оплотъ противъ развитія новаго феодализма въ лицѣ грядущей буржуазіи.

Въ политической жизни видимо усматривается одно неотвратимое стремленіе, коренной законъ тяготѣнія, которымъ движется исторія. Тамъ, гдѣ первоначальное историческое броженіе вынесло крайнее различіе положеній, тамъ неизбежно воспринималъ вслѣдъ за тѣмъ свое дѣйствіе законъ обратнаго дѣйствія, и тамъ же, только уступая постоянно и постепенно этому закону, высшія наслоенія поддерживали свое значеніе. Въ Англіи дворянство удержало свое значеніе, только потому что само отозвалось отчасти на такія требованія и въ этомъ не слѣдуетъ видѣть ни доблести самоотверженія, ни безкорыстнаго движенія, а только прямой политической тактъ, вѣрно понятый интересъ самосохраненія. Во Франціи одинаково забыто было это условіе и дворянствомъ и властью. Дворянство пало, а королевская власть выдвинула на его мѣсто только буржуазію, и тѣмъ ограничилось. До XVI вѣка власть эта была послѣдовательною; но здѣсь она начала показывать, что не сознаетъ своего настоящаго значенія.

Отсюда и ложное положеніе ея во время Бодена. Съ одной стороны напоръ демократическихъ интересовъ, въ которыхъ она не видитъ своей настоящей силы, съ другой придворное вліяніе феодализма, разложеніе котораго остановлено ею же самою на полдорогѣ. Съ одной стороны кальвинизмъ, съ другой — Лига.

Понятно ли теперь, чѣмъ обусловливалась настоящая сила

для королевской власти среди вопросов XVI столѣтія, и каковое направленіе должна была принять ея политика, чтобы избавить монархію легистовъ и парижскій дворъ отъ всѣхъ невзгодъ временъ Кальвинизма, Лиги и потомъ Версальскаго періода и ряда революцій.

Но сама власть не понимала своего положенія; вмѣсто уравниенія, она заложила новое неравенство и тѣмъ опредѣлила свой будущій характеръ какъ нельзя рѣшительнѣе. Съ одной стороны напоръ подавленныхъ интересовъ долженъ былъ постоянно подрывать ея основанія, и она нѣсколько разъ падала отъ этого напора; съ другой — заложенное на днѣ общества противорѣчіе, вызывать ее снова на политическую сцену, какъ прямой политической результатъ всякаго аристократическаго порядка.

Впрочемъ, сама школа легистовъ въ своихъ позднѣйшихъ представителяхъ XVI вѣка, въ ряду которыхъ Боденъ является ея философомъ, видимо не понимала того политическаго духа, который оживлялъ ея первыя начала и первые успѣхи. Вмѣсто того, чтобы раскрыть самый узелъ вопроса и указать дальнѣйшее плодотворное развитіе политической теоріи, подъ которою вырѣлся весь историческій строй французской жизни въ XVI вѣку, Боденъ явился узкимъ консерваторомъ, испуганнымъ защитникомъ ослабѣвшаго; съ полицейскими средствами и семейной инквизиціей, въ рукахъ онъ являлся собственно врагомъ той монархіи, которой думалъ быть спасителемъ.

Въ ряду мыслителей конца XVI вѣка, среди деморализаціи и шаткости политическихъ началъ, онъ можетъ быть названъ стоическимъ реакціонеромъ.

Но стоицизмъ его не могъ найти сочувствія въ общемъ строю убѣжденій и удовлетворить понятіямъ общества. Поэтому, Боденъ былъ для насъ интересенъ, только какъ новый ясный свидѣтель патологическаго состоянія умовъ своего времени. Удовлетворить такому состоянію гораздо ближе могло то направленіе, съ которымъ мы встрѣчаемся у Монтеня.

Скептицизмъ Монтеня не есть сомнѣніе пробуждающагося сознанія, какъ нѣкоторые хотѣли думать; это скептицизмъ извѣстной дряхлости и разочарованія, которая сказывается себя довольно явственно.

Скептицизмъ этотъ не начало мышленія, какъ у Декарта, напримѣръ; а напротивъ, конецъ, результатъ отчета и умственной борьбы, ему предшествовавшей. За нимъ нѣтъ дороги впередъ для мысли; она объявлена несостоятельною и безнадежною, послѣ чего можетъ имѣть мѣсто одно безприкословное повиновеніе всему данному, что мы здѣсь и встрѣчаемъ. Весь скептическій матеріалъ у Монтеня выработанъ не собственной мыслью, а временемъ; послыши, для него подготовлены тѣмъ, что онъ видитъ кругомъ; къ нимъ онъ приписываетъ только свои скептическія заключенія. На его глазахъ прошла вся картина реформаторской діалектики, онъ видѣлъ все ея ничтожество, и потому мы можемъ приблизительно догадываться какое значеніе онъ долженъ приписывать вообще деалектикѣ и словопреніямъ.

„Наши споры,“ пишетъ онъ, „должны бы были быть запрещены, какъ другія словесныя преступленія. Какихъ только пороковъ онѣ не зараждаютъ и не усиливаютъ, будучи всегда слѣдствіемъ вражды? Мы начинаемъ вражду съ мыслей, и кончаемъ людьми. Мы учимся спорить для того только, чтобы противорѣчить; всѣ спорятъ, всѣ противорѣчатъ, и отсюда выходитъ, что спорить — значитъ уничтожать истину.“ Возвращаясь нѣсколько разъ къ этому вопросу, Монтенъ высказываетъ ясно убѣжденіе, что личныя страсти, примѣшиваясь постоянно въ наши сужденія, дѣлаютъ невозможнымъ добросовѣстный выводъ.

Если Монтенъ такимъ образомъ явно видитъ присутствіе личныхъ интересовъ въ нашихъ мысляхъ, то явнѣе онѣ кажутся ему въ нашихъ дѣлахъ. Общество для него — это борьба интересовъ. „Le profit de l'un est dommage de l'autre... Le

marchand ne fait bien ses affaires qu'a la debauche de la jeunesse; le laboureur à la cherté des blés; l'architecte à la ruine des maisons, les officiers de la justice aux procès et querelles des hommes; l'honneur meme et pratique des ministres de la religion se tire de notre mort et de nos vices; nul medicin ne prend plaisir à la santé des autres; ainsi du reste. Et qui pis est que chacun se sonde, il trouvera que nos souhaits interieurs pour la plupart noissent et se nourrissent au depens d'autrui.

Отъ такихъ понятій для мысли еще смѣлой и энергичной сколько нибудь, вѣдь одинъ шагъ всего къ реализму. Но въ этомъ-то и дѣло, что у Монтеня не достааетъ силы на этотъ послѣдній шагъ, что онъ сомнѣвается даже въ успѣхѣхъ какого либо мышленія, и кончаетъ проповѣдью совершеннаго квіетизма. Положительная часть мыслей Монтеня не заключаетъ въ себѣ ничего замѣчательнаго, но за то на столько же полна остроумія, проникательности и наблюденія другая сторона его Essais. Отсюда читатель можетъ вынести много непоколебимо вѣрнаго относительно людской природы, много пракческаго и реальнаго, если отсутствіе опыта и доля идеализма, какъ принадлежность незрѣлой юности, или слѣдствіе безтолковаго воспитанія не помѣшаютъ ему принять за истину, а не за парадоксы то, что дѣйствительно здѣсь есть неоспоримаго. Но Монтень не политикъ собственно и не юристъ; мы упомянули о немъ, какъ о лишнемъ свидѣтелѣ, подтверждающемъ нашъ взглядъ на эпоху.

Монтень — послѣднее отраженіе въ литературѣ общаго состоянія умовъ среди разложенія старыхъ вѣрованій, и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдній фазисъ этого разложенія. Далѣе его скепцизма искать нечего; здѣсь приложена послѣдняя печать къ характеру понятій XVI вѣка и этотъ характеръ заканчивается Монтенемъ какъ нельзя полнѣе. Политическая мысль оставалась, теперь не только безъ вѣры въ старыя начала, но и безъ

*Je
guin
elle
la
zin
ui
ts
ns* вры въ самое себя. Передъ ней лежалъ сокрушенный міръ. и
въ перегорѣвшихъ остаткахъ его она не видѣла теперь ничего,
кромя собственнаго ничтожества.

Къ чему вели такіа условія? какими послѣдствіями долж-
ны они были отражаться въ жизни? Нужно ли въ самомъ
дѣлѣ договаривать? Отрицая себя, сознание естественно предо-
ставляло сумму общественной и политической дѣятельности круг-
лому реализму. Боясь договориться на словахъ и въ печати
до этого реализма, общество договаривалось до него самымъ
дѣломъ, и Макиавелли, дурно понятый, какъ наставникъ лич-
ныхъ интересовъ каждаго, царилъ надъ эпохой болѣе, чѣмъ
когда либо. Въ глубинѣ сердець всѣ являлись его вѣрными
приверженцами въ то время, какъ отъ него отворачивались
официально, такъ, что самый прямодушный изъ писателей
долженъ былъ сказать поневолѣ, *qu'il faut machiaveliser pour
obtenir quelque honneur dans ce siecle.*

ГЛАВА VIII.

Заключеніе.

Мы рассмотрѣли теперь все сколько нибудь замѣчательное въ политической литературѣ XVI вѣка нашъ обзоръ не отличается полнотою и богатствомъ подробностей, но наша цѣль заключалась вовсе не въ томъ, чтобы писать полную исторію политической литературы этого времени, а только узнать общій характеръ этой литературы. Кромѣ того, читатель могъ видѣть, что занимаясь характеристикой столѣтія, мы искали этой характеристики не въ томъ, что представляетъ это столѣтіе въ его писателяхъ, отличительнаго отъ прочихъ столѣтій, ему одному свойственнаго и преходящаго измѣнчиваго, а напротивъ искали этой характеристики въ томъ, что представляетъ это столѣтіе общаго всѣмъ временамъ и столѣтіямъ, но что рѣзче и ярче выступаетъ въ этомъ столѣтіи наружу въ силу яркости самыхъ историческихъ событій и даровитости мыслителей. Только тѣмъ, что выступало въ литературѣ этого столѣтія общечеловѣческаго и общенсторическаго, оно и было намъ дорого и любопытно и мы пользовались его людьми и событіями только, какъ драгоцѣннымъ матеріаломъ для изученія, анализа и наблюденія именно этихъ общихъ условій, которымъ подчиняются политическія системы въ своемъ возникновеніи и направленіи. -Наша задача была по этому бо- дѣ философская и теоретическая, чѣмъ историческая, и если не наступило еще время для того, чтобы писать теорію исторіи,

то тѣмъ не менѣе намъ, казалось возможнымъ извлечь уже теперь нѣкоторыя данныя для теоретическаго опредѣленія—т. е. опредѣленія разъ навсегда и для всякаго времени, настоящаго отношенія между главными элементами и факторами дѣйствующими въ исторіи политической литературы общества во всякое данное время. Три теоретическія элемента, три отвлеченныя начала, представляются намъ опредѣляющими въ каждое данное время гражданское сознание общества элементъ юридическій или право, элементъ политическій и элементъ экономическій. Мы видимъ согласно съ этими тремя элементами, три рода писателей юристовъ, политиковъ и экономистовъ одинаково разсуждающихъ объ обществѣ, въ теоретической и исторической его формѣ, но всѣ эти писатели одинаково забывали и забываютъ до сихъ поръ, что каждый изъ нихъ изучаетъ одну только произвольно отвлеченную сторону общества, которая можетъ быть обособлена въ видахъ удобства самого изученія, только условно и неимѣетъ реальной самостоятельности и слѣдовательно немыслима сама по себѣ, и имѣетъ этотъ смыслъ только въ общей связи съ другими. Если наше изученіе общества началось съ произвольнаго анализа или разложенія этого общества на условныя его элементы—то самыя эти элементы могутъ быть изучены только черезъ сравненіе ихъ другъ съ другомъ, черезъ опредѣленіе свойствъ каждаго изъ нихъ сопоставляя эти элементы между собою т. е. изучая ихъ на самомъ дѣлѣ, въ самой жизни гдѣ они никогда не являются раздѣльными, всегда сопоставленными. Разсуждая а priori надъ той связью, которая должна заключаться между этими тремя элементами, не трудно конечно, придти къ тому совершенно вѣрному заключенію, что всѣ эти три элемента составляютъ только различныя формы, различныя положенія или видоизмѣненія въ сущности одного всего элемента или начала. Какое же это начало?

Если мы будемъ исходить изъ той прямой мысли, что вся

историческая дѣятельность человѣчества имѣетъ цѣлью обогатить его, чѣмъ бы то нибыло противъ того положенія въ которомъ онъ вышелъ изъ рукъ природы, т. е. расширить средства его существованія, наслажденія и обладанія надъ міромъ, противъ тѣхъ границъ въ которыхъ эти средства были доступны ему въ дикомъ состояніи, если мы въ отличіе отъ физическаго человѣка, назовемъ нравственнымъ человѣкомъ все, что приобрѣла и приобретаетъ человѣческая личность противъ того, что дала ему непосредственно природа, то мы найдемъ искомое нами, начало движущее всей общественностію, настоящую историческую закваску, въ стремленіи человѣка къ улучшенію своего положенія противъ того, что дала ему непосредственная природа. Это стремленіе къ улучшенію своего положенія и должно стало быть считаться за начало движущее всей общественностію, для котораго право и политика составляютъ лишь внѣшнія формы выраженія, тѣ различныя категоріи въ которыхъ оно повторяется. А такъ какъ улучшеніе благополучія человѣка и расширенія его средствъ прежде всего выражается въ обезпеченіи его суммой вещей или матеріальныхъ предметовъ, то общее историческое стремленіе человѣка къ улучшенію своего положенія прежде всего и выражается въ тѣсномъ, смыслѣ въ интересѣ, экономическомъ, который и составляетъ настоящую закваску, настоящее начало, и ему то, право и политика служатъ только своеобразными выраженіями. Вытекающее отсюда отношеніе и различіе между тремя элементами юридическимъ, политическимъ и экономическомъ представляется по этому послѣ сказаннаго чисто категорическимъ, т. е. различіемъ болѣе діалектическимъ, чѣмъ реальнымъ. То, что мы называемъ обыкновенно экономическимъ элементомъ изучаемымъ политической экономіей, есть экономическое начало какъ принципъ или экономическое начало въ его теоретической формѣ, то что мы называемъ началомъ политическимъ есть экономическое начало въ дѣйстви; то, что мы

называемъ правомъ есть экономическое начало оформленное, введенное въ обязательный для всѣхъ положительный законъ. Теперь понятно, что такъ какъ бороться и драться немислимо изъ-за того, что вошло въ положительный законъ и существуетъ, то если въ обществѣ, совершается борьба и продолжается исторія, значить положительный законъ или оформленный признанный законнымъ, экономическій интересъ неудовлетворяетъ теоретическимъ требованіямъ. Понятно также и то, что политическая борьба служитъ выраженіемъ такихъ экономическихъ требованій, которыя не осуществлены въ законѣ, а потому положительный законъ бываетъ обыкновенно ниже этихъ требованій. Точно также понятно наконецъ и то, что политическія требованія бываютъ обыкновенно ограниченнѣе требованій теоретическихъ и экономическихъ требованій взятыхъ въ принципѣ.

Такимъ образомъ экономическія требованія руководятъ политикой и правомъ, и достаточно понять это разъ въ общемъ смыслѣ для того, чтобы понять, что и въ частности политическая дѣятельность лицъ и партій есть выраженіе экономического интереса этихъ лицъ и партій и недовольства ихъ въ этомъ отношеніи, положительнымъ закономъ или защитой этого закона противъ посягательства на прочность этого закона партій другихъ лицъ, страдающихъ отъ этого закона.

То, что мы высказали, только что теоретически, то именно нашли мы самое дѣлѣ въ исторіи системъ XVI вѣка. Мы именно хотѣли посмотрѣть, вмѣстѣ съ читателемъ на отношенія, существующія между юридическимъ, политическимъ и экономическимъ элементами въ самомъ ихъ дѣйстви и здѣсь нашли то именно рабское подчиненіе всѣхъ соображеній юридическихъ тому, что приобретаетъ перевѣсъ или побѣждаетъ въ политикѣ тѣмъ интересамъ, за которымъ остается поле послѣ битвы, и зависимость, и такъ сказать обусловленность политическихъ стремленій мотивомъ экономической выгоды, составляющей заваску всего, что ни выражаютъ событія. Политическіе писа-

тели или публицисты выражаютъ на нашихъ глазахъ полное равнодушіе къ практическимъ и теоретическимъ средствамъ лишь бы эти средства помогали торжеству того интереса партіи, который въ послѣднемъ счетѣ всегда представляетъ собой борьбу за большую власть надъ чужимъ трудомъ и вещами, т. е. борьбу экономическую. Побѣждающая партія сейчасъ слагаетъ свой собственный діалектическій толкъ, свой юридическій догматизмъ для защиты похищенной ей власти, какъ абсолютнаго права. И сколько борются партій, столько въ суммѣ является юридическихъ толковъ. Отсюда понятіе о томъ, что должно быть признано добромъ и зломъ, правымъ или неправымъ сводится каждымъ изъ нихъ къ оправданію того, что есть или къ чему стремится эта партія. Три главныхъ политическія интереса другъ другу противоположны стоятъ однако на главномъ планѣ. Интересъ феодальный, средняго сословія и просто-народья и всѣ три представляютъ ничто иное, какъ три отдѣльныхъ экономическихъ интереса поземельнаго собственника, капиталиста и труда, лишеннаго земли и капитала и у каждаго свое право свои юридическіе толки. У однихъ схоластики у другихъ легисты, у третьихъ... У послѣднихъ то вотъ и являются защитниками такіе писатели какъ Макиавелли или Моръ усматривающіе фальшивость и шарлатанство всѣхъ юридическихъ толковъ и зависимость ихъ отъ господствующей силы, отрицающіе одинаково всякіе юридическіе толки, уничтожающіе всякій безусловный дуализмъ и обличающіе всеобщее лицемеріе; словомъ писатели, которые становятся выше всѣхъ партій и пишутъ во имя истины а не во имя партій. Примѣръ ихъ убѣждаетъ насъ совершенно точно въ томъ, что въ дѣлѣ общественныхъ воззрѣній истина лежитъ вовсе не за горами и ясность взгляда болѣе зависитъ отъ честности самаго писателя чѣмъ, отъ теоретическихъ трудностей. Мы видимъ, что разъ люди находятъ нравственную силу возвыситься надъ мелкими стремленіями, интересами партіи,—ни въ XVI вѣкѣ почти столь же ясно

видятъ вещи, какъ мы видимъ эти вещи и въ XIX и видятъ ихъ явнѣ во всякомъ случаѣ, чѣмъ школьная наука нашего времени, поработанная этимъ духомъ партіи. Они относятся по этому во всему юридическому догматизму, которымъ каждая изъ торжествующихъ партій, старается закрѣпить свое дѣло съ полнымъ сознаниемъ въ немъ шарлатанства и потому съ совершеннымъ презрѣніемъ. Они какъ Макиавелли видятъ, что догматизмъ этотъ въ сущности самъ не вѣритъ и не признаетъ никакого абсолютнаго дуализма, а видитъ добро въ томъ, что ему выгодно и зло въ томъ, что невыгодно. Поэтому, говорятъ они, если въ концѣ концовъ и для этихъ доктринеровъ— догматиковъ дуализмъ опредѣляется чисто утилитарнымъ порядкомъ, то пусть же эта утилитарность являющаяся одинаково для всѣхъ критеріумомъ добра и зла, справедливости и несправедливости будетъ не частной утилитарностью какой либо партіи, а утилитарностью общей; и интересы всего общества, а не частныхъ партій, пусть служатъ критеріумомъ права. Если эти люди считаютъ одинаково дозволенными и безразличными всѣ средства, для достиженія своихъ цѣлей, то пусть же эти средства лучше служатъ общимъ цѣлямъ и общественному добру, чѣмъ цѣлямъ частныхъ партій, пусть приносятъ, что либо доброе обществу, а не новый вредъ. Иначе мы видимъ рядъ совершающихся ужасовъ и рядъ всеобщихъ жертвъ, которыми заставляютъ приносить человѣчество для того, чтобы сдѣлать его положеніе не лучше, а еще хуже. Какъ ни тяжела хирургическая ампутація но она оправдывается однако во имя того, благого исхода для больнаго, который за ней имѣется въ виду. Но другое совершенно дѣло, совершать тѣже операціи надъ народомъ, не для самаго народа, а просто, какъ операціи или для собственнаго услажденія и выгоды. Такова нравственная точка зрѣнія Макиавелли. И это зло объясняетъ онъ же, совершается людьми не въ силу чего инаго какъ въ силу корысти. Томасъ Моръ идетъ прямо къ сущности вопроса и

утверждаетъ, что пока не будетъ положено предѣла этой корысти до тѣхъ поръ неумѣрится зло, что этотъ экономическій расчетъ служить закваской всего, что ни творится въ политикѣ и правѣ, и пока эта закваска не будетъ устроена, до тѣхъ поръ неустроится ни право ни политика. То, что мы видимъ затѣмъ во время реформации и времена слѣдующія за нею, составляетъ только фактическое подтвержденіе такой зависимости юридическаго догматизма и политическихъ событій отъ экономическаго расчета. Мы видимъ на самомъ дѣлѣ совершенное пренебреженіе къ нравственнымъ основаніямъ тамъ, гдѣ дѣйствуетъ экономическій расчетъ. Люди пишутъ и выдаютъ сегодня за абсолютный нравственный догматизмъ то, отъ чего завтра отрекаются печатно во имя новыхъ абсолютныхъ нравственныхъ положеній и изъ всего этого въ наукѣ остается только рядъ тяжелыхъ усилій доказать вещи никакъ не подчиняющіяся доказательству не смотря на все старанія; въ совѣсть, совершенное недоверіе ко всякому научному догматизму, глубокое убѣжденіе въ всеобщемъ шарлатанствѣ научныхъ догматиковъ и полная увѣренность, что все, что ни творится на дѣлѣ и пишется руководитъ одинъ преднамѣренный обманъ. И это убѣжденіе совершенно вѣрное относительно массы писателей и дѣятелей составляющихъ рабскихъ служителей партій терпитъ исключеніе только для тѣхъ писателей, которые достаточно честны, чтобы возвыситься надъ духомъ партіи, какъ Моръ и Макиавелли и литература каждаго времени повторяетъ въ себѣ это явленіе; каждое время можетъ похвастать, только скромнымъ числомъ писателей дѣйствительно преданныхъ истинѣ, а отсюда можно вывести уже, что только этихъ немногихъ писателей слѣдуетъ считать за настоящихъ представителей степени развитія политическаго и общественнаго сознанія даннаго и у нихъ только слѣдитъ развитіе политической и общественной мысли, оставляя въ сторонѣ всехъ остальныхъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе	стр. I
-----------------------	--------

ГЛАВА I.

Шаткость современнаго положенія философіи права.—Идеализм и его результаты.—Реальныя требованія времени.—Что можно еще разумѣть теперь подъ философіей права, и въ какомъ смыслѣ можетъ быть разрабатываема ея исторія.—Общій характеръ XVI вѣка, значеніе его въ исторіи общественныхъ понятій и ничтожная роль, придаваемая ему обыкновенно въ исторіи философіи права нѣмецкими писателями

1

ГЛАВА II.

Схоластика. — Нравственный дуализмъ и общественный фатализмъ—два ея главныя основанія.—Отношеніе ея къ средневѣковой жизни. — Первый протестъ противъ нея. — Легисты во Франціи. — Среднее состояніе и начало новыхъ понятій въ социальномъ и политическомъ отношеніяхъ

24

ГЛАВА III.

Макиавелли.—Сужденія о немъ.—Отличіе его отъ схоластиковъ и гуманистовъ по внѣшней формѣ твореній.—Два коренные мотива разлада его съ современнымъ порядкомъ: римскій дворъ и тиранія, и два протівоядія; il Principe и рѣчи о Титѣ Ливіѣ.—Содержаніе и настоящій смыслъ этихъ сочиненій.—Особенность и характеръ всего ученія.—Крутые совѣты и ихъ противники.—Слабая сторона ученія не тамъ, гдѣ ее обыкновенно указываютъ.—Общій выводъ относительно всего ученія.

42

ГЛАВА IV.

Макиавелли дополняется Т. Моромъ.—Внѣшняя форма Утопіи.—Вопросъ о смертной казни и соціальныя раны у Англии, за обѣдомъ у епископа Кентерберійскаго.—Сатира надъ соціальными типами времени.—Шутъ и капуцинь.—Военный совѣтъ французскаго короля.—Коренная мысль Т. Мора; общее возраженіе противъ нея.—Устройство острова Утопіи.—Это устройство не идеалъ, какъ его принимаютъ, а только сатира.—Слабыя стороны Утопіи.—Близость новаго движенія идеализма и реформаціи.

71

ГЛАВА V.

Мистическія стремленія времени.—Симптомы реформаціи до Лютера.—Реформація въ Германіи,—Лютеръ.—Анабаптисты и крестьянская война.—Юридическія теоріи лютеранской школы . . .

89

ГЛАВА VI.

Кальвинъ и его ученіе. — Свѣтскіе писатели временъ Кальвина. — Мишель Лопиталь и Лабозти. — Кальвинисты въ Англіи: Ноксъ, Букананъ и Пайнс. — Публицисты школы Кальвина во Франціи и публицисты Лиги	116
--	-----

ГЛАВА VII.

Послѣдніе свидѣтели общаго разложенія политическихъ убѣжденій. — Макиавелли и Ботеро. — Жанъ Бодень и Монтень.	138
--	-----

ГЛАВА VIII.

Заключеніе	154
----------------------	-----



JA

83

Z46

**Stanford University Libraries
Stanford, California**

Return this book on or before date due.

--	--	--